

— СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК —

— παλιπομένων —

Лев Гомолицкий
Сочинения
русского периода



СТИХИ
ПЕРЕВОДЫ
ПЕРЕПИСКА

Лев Николаевич Гомолицкий
Сочинения русского
периода. Стихотворения и
переводы. Роман в стихах.
Из переписки. Том II
Серия «Серебряный
век. Паралипоменон»

Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=4964664
Сочинения русского периода. Стихотворения и переводы. Роман в
стихах. Из переписки. Том II: Водолей; Москва; 2011
ISBN 978-5-91763-078-6, 978-5-91763-080-9

Аннотация

Межвоенный период творчества Льва Гомолицкого (1903–1988), в последние десятилетия жизни приобретшего известность в качестве польского писателя и литературоведа-русиста, оставался практически неизвестным. Данное издание, опирающееся на архивные материалы, обнаруженные в Польше, Чехии, России, США и Израиле, раскрывает прежде остававшуюся в тени грань облика писателя – большой свод его сочинений, созданных в 1920–30-е годы на Волыни и в

Варшаве, когда он был русским поэтом и становился центральной фигурой эмигрантской литературной жизни. Второй том, наряду с разбросанными в периодических изданиях и оставшихся в рукописи стихотворениями, а также вариантами текстов, помещенных в первом томе, включает ценные поэтические документы: обширный полужаконченный автобиографический роман в стихах «Совидец» и подготовленную поэтом в условиях немецкой оккупации книгу переводов (выполненных размером подлинника – силлабическим стихом) «Крымских сонетов» Адама Мицкевича. В приложении к стихотворной части помещен перепечатываемый по единственному сохранившемуся экземпляру сборник «Стихотворения Льва Николаевича Гомолицкого» (Острог, 1918) – литературный дебют пятнадцатилетнего подростка. Книга содержит также переписку Л. Гомолицкого с А. Л. Бемом, В. Ф. Булгаковым, А. М. Ремизовым, Довидом Кнутом и др.

Содержание

Стихотворные произведения	11
Стихотворения, не вошедшие в печатные и рукописные сборники или циклы и извлеченные из периодических изданий и рукописей	11
397. Блаженство	11
398. Взятие города	12
399. Жатва	13
400. И. Бугульминскому	16
401. Памяти Исидора Шараневича	17
402. Голос из газетного подвала	20
403. Голос из газетного подвала. II.	24
Дорожное распятие	
404. Бог	31
405. Любовь	31
406. Земной Рай	32
407. голем	33
408. Наше сегодня	33
409. Бог	34
410. Памяти Бориса Буткевича	36
411. Дни мои... я в них вселяю страх...	37
412. Дрожа, струится волнами бумага...	37
413. Дрожишь над этой жизнью – а зачем?..	38

414. Белые стихи	39
415. Пугливы дни безмолвною зимой...	40
416. Солнце	41
417. Солнце	42
1. Благодатной тревогой	42
418	43
2. В эти опустошенные дни	43
419. Дополнение к оде II	44
Рукописные тексты	49
420. В дни, когда обессилел от оргии духа...	49
421... Написана там от руки черной тушью...	50
422. Я всё возвращаюсь в аркады замолкшие храма...	51
423. Мир это – дом весь сложенный непрочно...	53
424. Вечно может быть рано и вечно может быть поздно...	53
425. От моих поцелуев трепещут и бьются...	54
426. Из «Петруши». Часть вторая	56
427. Сын века	65
428. Я не один теперь – я вместе с кем- нибудь: со зверем...	66
429. Жатва (В движеньи времени, лишь	67

вспыхнет новый день)...

430. Ребенком я играл, бывало, в великаны... 68
431. Самосознание (Оно пришло из сердца: по ночам я...) 71
432. Однажды вечером у нас в гостях... 73
433. Войди в мой Дом, чтоб отделили двери... 74
434. Пылинка – я в начале бытия... 74
435. Днем я, наполненный заботами и страхом... 75
436. еще в палаццо захолустном... 76
437. Песня (журавлиный грай колодца...) 76
438. Полевой отшельник (в рубаше красной и портках исподних...) 77
439. без малого ровесник веку... 78
440. Сын Филимона (силлабические стихи) 79
- ...
441. Polonia (птицы – рок налетают...) 80
442. Облачный город (град драконом змеится...) 82
443. Поэту (негодующей тенью...) 83
444. по свету розлетелась вата... 84

Варианты 85

76. Среди моря полей холмистого... 85

209. Не научившись быть вполне земным... 90

211 а. Эмигрантская поэма	91
211 в. Эмигрантская поэма	104
212. Смерти	120
Конец ознакомительного фрагмента.	127

Лев Гомолицкий

Сочинения русского периода. Стихотворения и переводы. Роман в стихах. Из переписки. Том II

Составители и издательство выражают глубокую благодарность Кафедре славистики, Отделению литератур, культур и языков и деканату Факультета гуманитарных и точных наук Стэнфордского университета за щедрую поддержку этого издания

Редакционная коллегия серии:

Р. Бёрд (США),
Н. А. Богомолов (Россия),
И. Е. Будницкий (Россия),
Е. В. Витковский (Россия, *председатель*)
С. Гардзонио (Италия),
Г. Г. Глинка (США),
Т. М. Горяева (Россия),
А. Гришин (США),
В. В. Емельянов (Россия),
О. А. Лекманов (Россия),

В. П. Нечаев (Россия),
В. А. Резвый (Россия),
Р. Д. Тименчик (Израиль),
Л. М. Турчинский (Россия),
А. Б. Устинов (США),
Л. С. Флейшман (США)

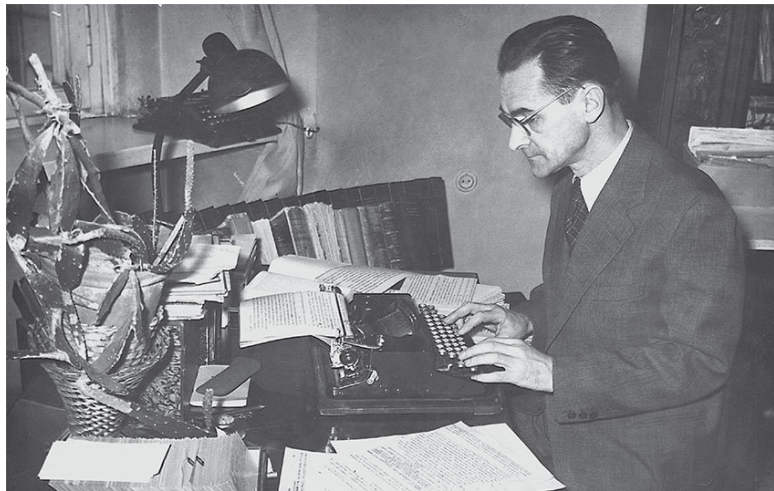
Издательство искренне благодарит *Юрия Сергеевича Коржа и Алексея Геннадьевича Малофеева* за поддержку настоящего издания

© Tadeusz Januszewski (Warszawa), тексты Л. Гомолицкого, 2011

© Л. Белошевская, П. Мицнер, Л. Флейшман, составление, подготовка текста, предисловие, примечания, 2011

© М. и Л. Орлушины, оформление, 2011

© Издательство «Водолей», оформление, 2011



Стихотворные произведения

Стихотворения, не вошедшие в печатные и рукописные сборники или циклы и извлеченные из периодических изданий и рукописей

397. Блаженство

По глади лужицы резвился водомер, песчинки – скалы тихо проплывали, а в глубине, где мутен свет и сер, рождались тысячи и жили и желали. Чудовищаличинки, мураши, хвостатые, глазастые, мелькали. Стояли щепочки в воде на полпути, шары воздушные, качаясь, выплывали.

Мерцая радостно, созданыице одно – неслоь в водоворот существованья. Все было для него и для всего оно, и не было печали и страдания. Пока живет – летит куда несет. Сейчас его чудовище поглотит... То жизненный закон... Нет страха, нет забот... Блаженством жизненным за то создание платит...

В вонючей лужице блаженствует микроб. В чудесном мире великан прекрасный, живя, срубил себе просторный гроб и сел над ним безумный и несчастный.

398. Взятие города

(Отрывок)

Уж смылись флаги красною пеною над ошалевшей злобою толпою, оставив трупы черные в песке, как после бури в мутный час отлива. Но слышались раскаты вдалеке.

Внезапно днем два пробудивших взрыва. И началось: сквозь сито жутких дней ссыпались выстрелы на дно пустых ночей; шрапнель стучала по железной крыше, а черные железные шмели врезались шопотом, крылом летучей мыши, и разрывались с грохотом вдали.

Дымки гранат широкими шагами шагали между мертвыми домами, где умолкало пение шмеля; и брызгали из-под ступней гремящих железо, камни, щепки и земля – все оглушительней, настойчивей и чаще. Глазами мутными я различал впотьмах на стенах погребов денной грозы зарницы, что через Тютчева предсказаны в стихах; хозяев бледные растерянные лица; и отголоском в слухе близкий бой, как хор лягушек ночью вдоль болота – в одно звучанье слившийся стрельбой; и хриплый лай за садом пулемета.

Как туча сонная, ворча, блестя грозой, ворочаясь за ближними холмами, застынет вся внезапной тишиной, но в тишине шум капель дождевой растет, пока сверкнет над головами, так бой умолк – в тиши, страшной громов, посыпался на город чмок подков...

Не сон – рассвет взволнованный и тени летящих всадников, горящий их кумач.

Двух обвиненных пленников «в измене» на пустырь рядом проводил палач. Сквозь грозди нежные акации и ветви их напряженные я подглядел тела навывтяжку перед величием смерти.

Без паруса, без шумного весла по голубому небу, расцветая, всплывало солнце – ослепление век. Вода потопа, верно опадая, качала с пением торжественный ковчег.

(«Четки». – «Скит»)

399. Жатва

Ребенком я играл, бывало, в великаны: ковер в гостиной помещает страны, на нем разбросаны деревни, города; растут леса над шелковинкой речки; гуляют мирно в их тени стада, и ссорятся, воюя, человечки.

Наверно, так же, в пене облаков с блестящего в лучах аэроплана парящие вниманьем великана следят за сетью улиц и садов, и ребрами оврагов и холмов,

когда качают голубые волны крылатый челн над нашим городком пугающим, забытым и безмолвным, как на отлете обгоревший дом.

Не горсть надежд беспамятными днями здесь в щели улиц брошена, в поля, где пашня, груди стуже оголя, зимой сечется мутными дождями. Свивались в пламени страницами года, запачканные глиной огородов; вrostавшие, как рак, в тела народов и душным сном прожитые тогда; – сценарии, актеры и пожары – осадком в памяти, как будто прочитал разрозненных столетий мемуары.

За валом вал, грозя, перелетал; сквозь шлюзы улиц по дорожным стокам с полей текли войска густым потоком, пока настал в безмолвии отлив. Змеится век под лесом вереница, стеной прозрачной земли разделив: там улеглась, ворочаясь, граница.

За то, что Ты мне видеть это дал, молясь, теперь я жизнь благословляю. Но и тогда, со страхом принимая дни обнаженные, я тоже не роптал. В век закаленья кровью и сомненьем, в мир испытанья духа закаленьем травинкой скромной вросший, от Тебя на шумы жизни отзвуками полный, не отвечал движеньями на волны, то поглощавшие в мрак омутов, безмолвный, то изрыгавшие, играя и трубя.

В топь одиночества, в леса души немые, бледнея в их дыханьи, уходил, и слушал я оттуда дни земные: под их корой движенье тайных сил.

Какой-то трепет жизни сладострастный жег слух и взгляд

и отнимал язык – был ликованием каждый встречный миг, жизнь каждой вещи – явной и прекрасной. Вдыхать, смотреть, бывало, я зову на солнце тело, если только в силе;

подошвой рваной чувствовать траву, неровность камней, мягкость теплой пыли. А за работой, в доме тот же свет: по вечерам, когда в горшках дрожащих звучит оркестром на плите обед, следил я танец отсветов блудящих: по стенам грязным трещины плиты потоки бликов разноцветных лили, и колебались в них из темноты на паутинах нити серой пыли.

—
Но юношей, с измученным лицом – кощунственным намеком искаженным, заглядывал порою день буденный на дно кирпичных стен – в наш дом: следил за телом бледным, неумелым, трепещущим от каждого толчка – как вдохновенье в сердце недозрелом, и на струне кровавой языка сольфеджио по старым нотам пело.

Тогда глаза сонливые огня и тишины (часы не поправляли), пытавшейся над скрежетом плиты навязывать слащавые мечты, неугасимые, для сердца потухали: смех (издевательский, жестокий) над собой, свое же тело иступленно жаля, овладевал испуганной душой. Засохший яд вспухающих уку —

сов я слизывал горячею слюной, стыдясь до боли мыслей, чувств и вкусов.

—
Боясь себя, я телом грел мечту, не раз в часы вечерних ожиданий родных со службы, приглушив плиту, я

трепетал от близости желаний – убить вселенную: весь загораясь огнем любви, восторга, без питания и пищи, и отдыха покинуть вдруг жилище; и в никуда с безумием вдвоем идти, пока еще питают силы, и движут мускулы, перерождаясь в жилы.

То иначе —: слепящий мокрый снег; петля скользящая в руках ооченелых и безразличный в воздухе нощлег, когда обвиснет на веревке тело.

В минуты проблеска, когда благословлял всю меру слабости над тьмой уничтоженья – пусть Твоего не слышал приближенья, пусть утешенья слов не узнавал – касался, может быть, я области прозренья.

Скит

II. – 8. – 27 г.

Острог. Замок.

400. И. Бугульминскому

Не все ль равно, по старым образцам
Или своими скромными словами,
Не подражая умершим творцам,
Захочешь ты раскрыться перед нами.

Пусть только слов созвучие и смысл
Для современников невольно будет ясен,
Прост, как узор уму доступных числ,

И, как дыхание вечного, прекрасен.

Чтоб ты сказал измученным сердцам,
Измученным в отчаяньи скитанья,
И за себя и тех, кто молча там
Десятилетье принимал страданья.

Ведь Пушкин, смелый лицеист-шалун
И не лишенный, как и солнце, пятен,
За то и отлит внуками в чугуны,
Что был, волнуя, каждому понятен.

401. Памяти Исидора Шараневича

1

Забывшая об имени народа,
как человек, отрекшийся от рода,
страна теряет имя и язык,
который в ней и от нее возник.
И языки чужие, у порога
стоявшие с насмешкой и мечем,
несут свои обычаи и бога,
опустошая пастбище и дом.
Когда же память прошлого святая

стоит на страже вечной, охраняя
что есть, что будет и что может быть,
тогда стране – пускай она в печали,
пускай ее пригнули и сковали —
дано расправить члены и ожить.
О прошлом память, точно вдохновенье,
ведет на бой... нисходит – в тишине.
Рисует мне мое воображенье
ее крылатой, зрячей и в огне.

2

Такой же, верно, и к нему впервые
она явилась в таинстве ночном.
Он юношей сгибался над столом,
заправив свечи ярко-золотые.
Бессонный шорох шарил и бродил
той лунной ночью в усыпленном здании,
когда невидных крыльев трепетанье
он над собой с волненьем ощутил.
И посвятил себя ее служению,
построив храм священному волненью
ночной работы, шелесту страниц.
Из давнего, не подчиняясь тленью,
в него глядели вереницы лиц.
И шевелились кости под землею,

и обростали плотью, и вставал
к нему разбойник из Карпатских скал,
князь, венчанный короной золотою,
а и рассказ отчетливой рукою
он на страницах книг восстанавливал.

3

Так перед робким юношеским взглядом
века вставали пробужденным рядом
и выплыли на свет из темноты
родной страны забытые черты.
Привыкнув видеть битвы и победы,
взгляд возмужал, оценивая беды
и торжество и поруганье прав —
стал остр и зорок, робость потеряв.
Когда же мудрость – мирное сиянье
вокруг его склоненного чела,
мягча морщины, сединой легла —
взгляд посетило внутреннее знание, —
последним взмахом светлого крыла
окончилось тогда существованье.
И были дни его унесены
Историей к источнику творенья,
оставив нам заветом – вдохновенье
к борьбе за имя матери-страны:

Затем, что крепнут слава и свобода,
в тысячелетях зачиная миг,
и что, забыв об имени народа,
страна теряет имя и язык.

402. Голос из газетного подвала

1

В те апокалипсические годы
Великой русской казни и свободы,
Когда земля насыщена была
И, вместо кучи мусорной, могила
Для свалки тел расстрелянных служила, —
Известкою облитые тела
(Для гигиены... о насмешка века!)
Порою шорох жуткий проникал —
Меж скольких трупов кто-то оживал
И раздавался *голос человека*.

На дне жестокой гибели и зла,
Где боль и ужас встали у порога
Уничтоженья, затмевая Бога
И заслоняя прежние дела,
С последним вздохом кротким или злобным,

Инстинктом зверя, духом ли живым
Дать знать о нас другим себе подобным
Мы человеческим голосом хотим.

2

Не та же ли таинственная сила
Меня дыханьем смертным посетила.
Я не успел или не смел помочь
Душе ее познавшей в эту ночь...
Закрыв глаза, сквозь явь я видел – плыли
По тьме прозрачным дымом облака;
Как за дневною сутолкой века,
За ними звезды неподвижны были.
И тьма стояла над моей страной;
Скрестились в ней и ветры и дороги —
По ним блуждали люди, псы и боги
И развевался дым пороховой.

Под гибнущими, гибель проклиная —
О ком я знаю и о ком не знаю —
За них за всех, за самого себя,
Терпя, стыдясь и, может быть, любя,
Я делаюсь невольно малодушным,
И языком – гортани непослушным,
Который мыслям огненным учу,

Дать знать о нас: о мне и мне подобных:
Озлобленных, уставших и беззлобных,
Я человеческим голосом хочу.

3

Из года в год в наш день национальный
С подмосток, гордо стоя над толпой,
Мы повторяем: Пушкин и Толстой...
Наш день стал днем поминки погребальной.
Дух отошел. На пробе страшных лет
Все выжжено и в думах и в сознании.
Нет никого, чтоб обновить завет
И утвердить по-новому преданье.
Но дух, как пламя скрытое в золе,
Невидно тлеет, предан, ненавидим.
И мы, давно ослепшие во зле,
Изверившись, и смотрим и не видим.
Есть признаки – он говорит без слов,
Он их бросает под ноги, как бисер:
Расстрелян был безвинно Гумилев...
Пожертвовал собою Каннегиссер...
А сколько их, смешавшихся с толпой,
Погибнувших безвестно и случайно!
Кто видел, как у разгромленной чайной
Упал один убитый часовой?

Он, может быть, венчанья ждал в поэты,
А у судьбы – глагола только «мочь».
И в грудь его втоптал его сонеты
Тот конный полк, прошедший мимо в ночь.
Но он был молод и встречал, конечно,
Смерть, как встречают первую любовь.
И теплотой (как все, что в мире вечно)
Из губ его текла на камни кровь.
Кто видит нас, рассеянных по свету:
Где вытравлен из быта самый дух,
И там, где в людях человека нету,
Где мир, торгуя, стал и пуст и глух?
Сквозь скрежеты продымленных заводов,
Сквозь карантин бесправия и прав,
В труде, в позоре на себя приняв
Презрение и ненависть народов —
Пускай никто не ведает о том,
Гадая, в чем таится наша сила, —
В своем дыхании правду мы несем,
Которую нам Родина вручила:
Мы думаем, мы верим... мы живем.
В какой-нибудь забытой солнцем щели,
Где на груди бумаги отсырели,
Придя с работы в ночь, огарок жжем,
Чтоб, победив волнением усталость,
Себя любимым мыслям посвятить:
Все наше знание, тяготу и жалость
Во вдохновенном слове воплотить.
Мы боремся, заранее усталы

Под тяжестью сомнений и потерь, —
Стучимся в мир... Газетные подвалы
Нам по ошибке открывают дверь.
Но верим мы: придут и наши сроки —
В подвалах этих вырастут пророки.
Пускай кичатся этажи газет
Партийной славой временных побед, —
Что истинно, ошибочно и мерзко
(Пусть это странно и смешно и дерзко!),
Здесь, в их подвалах, мы хотим опять
Горящими словами начертать.

403. Голос из газетного подвала. II. Дорожное распятие

*В чистім поли на горбочку
Чистит солдат вінтовочку.
Чистит він, прочищає,
На хрест Божій він стріляє.
Як вистрилив – зробив рану,
Зробив рану під рукою;
Полялася кров річкою.*

—
*Сім ангелів ідуть,
В руках чаші несуть.
В руках чаші несуть,
Кров Христову соберуть.*

Современный народный стих.

Среди колосьев, между звезд падучих висит Кого не принимает гроб.

Вторым венком из проволок колючих кто увенчал Его поникший лоб?

Веревки мышц покрыли гноем птицы, тряпьем по ребрам рваным Он покрыт.

Он бородой касается ключицы и неподвижно между ног глядит.

Его покрыли язвой непогоды. Он почернел от выюги или гроз.

И на дощечке полустерли годы «Царь иудейский Иисус Христос».

Проходят мимо люди поминутно, товары тащат, гонят на убой,

Не замечая мук Его, как будто Он никогда не был С собой.
И только в ночь удобренные кровью, засеянные трупами поля

Целуют пальцы ног Его с любовью и ищут мертвых глаз Его, моля;

За темноту земной могильной плоти, ее покорность мускулам людей;

За то, что в мире, битве и работе не помнят люди горя матерей...

Проходит ночь, как пролетают тучи, и открывает воздух голубой.

Среди колосьев, проволока колючих висит Господь
забытый и – немой.

1

В сухую трещину дорожного распятия засунул черт
наскучившее платье и, скорчившись, у стоп Его издох,
уставясь кверху мимо звездных пятен.

Светало. Поле задержало вздох. И огненной небесною
печатью между колен земли родился «бог». Тогда, гудя,
лесов поднялись рати.

Седой зеленый, отрясая мох, шел между сосен девок
полоняти, жалевших деду домовому крох.

И поп, увидев в церкви свет с кровати, пошел с ключом
и, говорят, усох, окостенев и сморщась, как горох.

2

На митинг о религии плакаты прибыли в город. Дети
и солдаты слышали, как смеялся и грозил с трибуны
страшным голосом щербатый.

Один солдатик, проходя, впери́л глаза в распятие, говоря:
«Богатый!..» и в крест, нацелясь, пулей угодил. Все
видели, был ей пробит Распятый.

Ни простонал, ни вздрогнул, ни ожил. Обвисший, пыльный, на полях заплаты от вечной муки взора не открыл.

И только к ночи в мышце узловатой у круглой ранки возле шейных жил смолистой каплей желтый сок застыл.

3

Простоволосой женщина чужая, крестясь и в голос дико напевая, пришла, и видел весь народ, толпясь, как плакала, распятыя обнимая.

Потом, зовя «мой сокол» и «мой князь», косой своей распушенной седая отерла рану у Христа, молясь и ни на чьи слова не отвечая.

Когда же села на сухую грязь у подорожного пустого края, – горящим взглядом в лица уперлась.

Все думали, что это Пресвятая, и так толпа над нею разрослась, что комиссар объехал их, грозясь.

4

Пошло в народе, будто божьи слуги к кресту слетают. Съехалась с округи комиссия... Пришел патруль стеречь, затворы пробуя (шутя или в испуге).

Народ растаял. Заревая печь потухла, раскалившись. В страдном круге тащила ночь, не думая отпечь, по краю неба тучи, словно плуги.

Едва патруль успел, балуясь, лечь, как в поле черном, где сошлись дуги холмов, поднялся контур чьих-то плеч.

Под ним и конь увязнул до подпруги. Донесся скрип кольчуги ржавой... речь, и виден был в руке упавшей – меч.

5

И сон нашел на сторожей, покуда они смотрели, замерев, на чудо. Тогда упала тень от трех людей, скользнувшая неведомо откуда.

Они казались выше и черней в одеждах длинных: как края сосуда, внизу свивались складки их плащей, и вел один на поводу верблюда.

То были боги, выгнанные ей – Россией буйной – на потеху людям, из усыпленных верой алтарей.

Был Магометом тот, что вел верблюда; прямой и гибкий, как тростинка, – Будда и в седине и гриве – Моисей.

6

Перед Распятием молча боги стали, и, потрясая над собой скрижали, заговорил внезапно Моисей – и речь его была из красной стали.

– «Ты, разделивший племя иудей, принесший миру бунты и печали! Ты, опьянивший, как вино, людей, чтобы себя как звери пожирали!

– Тебе бы быть путем моих путей. Субботним вечером, как вечно сотворяли, творить молитву над плодами дней,

– Не расточать того, что мы скопляли, не обращать бы на себя своей безумной мудрости и гордости речей».

7

К вершкам пальцев, пахнувших степями, с улыбкой скользкой приложась губами, тогда сказал, склонившись, Магомет: «Муж из мужей, единый между нами!

– Ты был среди земных могучих «нет» девичьим «да». Ты детскими руками хотел с победой обойти весь свет, как чадами кишащий племенами.

Тебе бы быть мечом – ты был поэт! – огнем в лесу и львом между зверями! – Как медь, расплавив, лить в толпу завет!

– Ты не хотел ей дать игрушкой знамя. Так вот, найдя в самой себе ответ, толпа встает – ей в средствах равных нет».

8

- «Грешивший Бог Любовью и страдавший! не лучше ли я поступал, признавший и дух и тело мыльным пузырем» – так начал Будда, до сих пор молчавший.
- «Тебя мы в страшном виде узнаем – труп затвердевший, к дереву приставший; упрягом вечным – лезвием над сном повисшим молча над землей уставшей.
- Как буря ночью с ливнем и огнем, проходит смерть над жизнью пожелавшей и разрушает этот хилый дом.
- Боль победивший и любовь изгнавший и жизнь вне всякой жизни отыскавший, бесстрастный, – будет истинным вождем».

9

Змея тумана синеватым чадом кусала крест и обливала ядом. И Он с креста богам не отвечал ни дрожью мышц, ни стонами, ни взглядом.

Залитый кровью от терновых жал, тряпьем повитый – нищенским нарядом, копьём и пулей раненный, молчал над новой стражей, так же спящей рядом.

И, распростертый от Карпатских скал до мшистых тундр, опустошенным садом в молчаньи мир у ног Его лежал,

тот мир, который княжеским обрядом Его нагое тело окружал, был искушен, оставлен и восстал.

404. Бог

Мой Бог – Кто скрыт под шелухой вещей, Кого назвать боялся Моисей, о Ком скрывал на проповеди Будда, и Иисус – назвал Отцом людей.

Мой Бог, Кто будет жив во мне, покуда я сам Его живым дыханьем буду; в начале шага, взора и речей, о Ком, во мне живущем, не забуду;

Кто не прибег еще для славы к чуду в тюрьме и смуте, в воздухе полей, в толпе, к ее прислушиваясь гуду, в возне плиты и воплях матерей;

Кто делает все чище и добрей, открытый в жизни маленькой моей.

405. Любовь

У звезд и трав, животных и вещей есть Плоть одна и Дух единый в ней.

Он есть и в нас, – пусть цели и нажива нас гонят мимо

жизней и смертей.

Но ты смирись и уважай людей: что в них и с ними, жалко и красиво;

ты сожалея и милуй все, что живо – не повреди, щади и не убей.

Люби не Я, как тело любит душу: и соль морей, и каменную сушу, и кровь живую, и в брожении звезд земного шара золотую грушу.

Как из птенцов, свалившихся из гнезд, дыши на всех: на выжатых как грозд, на злых и наглых, вора и кликушу, кто слишком согнут и кто слишком прост.

Пусть твоего Дыханья не нарушит ни жизнь, ни смерть, ни почести, ни пост, который в ранах папиросы тушит.

406. Земной Рай

Заря цветет вдоль неба, как лишай. Где труп кошачий брошен за сарай, растет травинкой желтой и бессильной отвешенный так скупое людям рай.

Вот проститутка, нищий и посыльный с податками на новый урожай. Перед стеной тюремной скверик пыльный, солдатами набитый через край...

Есть тьма – есть свет, но, веря невзначай, они идут... разгадка непосильна, и не спасет ни взрыв, ни крест крестильный.

407. голем

Один раввин для мести силой гнева, слепив из глины, оживил голема. Стал человечек глиняный дышать.

Всю ночь раввин учил его писать и нараспев читать от права влево, чтоб разрушенья силу обуздать.

Но дочь раввина называлась Ева, а Ева – Хава значит: жизнь и мать, – и победила старца мудрость – дева.

Придя для зла, не мог противостоять голем любви и глиной стал опять.

—

Не потому ли, плевелы посева, боимся мы на жизнь глаза поднять, чтоб, полюбив, не превратиться в пядь.

408. Наше сегодня

Ночь, полная разрозненной стрельбой – комки мозгов на камнях мостовой – и над толпой идущие плакаты... все стало сном – пошло на перегной.

Там, где висел у кузницы Распятый, где рылся в пашне плуг перед войной, вдоль вех граничных ходит не усатый и не по-русски мрачный часовой.

Ведь больше нет ни там, в степи покато́й, ни здесь... под прежней русской широтой, Ее, в своем паденьи

виноватой.

Огородясь казармой и тюрьмой, крестом антенны встав над курной хатой, на нас взглянул жестокий век двадцатый.

409. Бог

1

Те, что для Бога между крыш, как в чаше, дворцы возводят с роскошью разящей, в наитии наивной простоты ждут благ земных из рук Его молчащих.

Но руки Бога скудны и пусты: дают бедно и отнимают чаще... И как бы Он служил для суеты разнузданной, пресыщенной и спящей!

Бог – это книга. Каждый приходящий в ней открывает белые листы.

Дела его вне цели и просты.

2

Антенны крест сменяет – золотой, и плещет ряса,

призывая в бой, пока ученый бойни обличает,
испуганный последнею войной.

Так, распыляясь, вера иссякает.

Над взбешенной ослепшею толпой идут плакаты – реют
и... линяют. И липнет кровь, и раздаётся рой.

История, изверясь, забывает, когда душистый теплый
прах земной носил Богов – хранил их след босой.

Но гул земной Кого-то ожидает в тот странный час, в
который наступает по городам предутренний покой.

3

«Все ближе Я – непризнанный хозяин, и мой приход не
нов и не случаен. Я тот, чей вид один уже пьянит, чей
разговор о самом мелком – таен.

Творец не слов, но жизни, Я сокрыт от тех, чей взгляд
поверхностно скользит. В движеньи улиц, ярмарок и чаен
мое дыханье бурей пролетит.

И в том, кто стал от пустоты отчаян, кто вечно телом
болен и несyt, Я оживу, от мудрецов утаен...

Где зарево над городом стоит, где миг с тобою радостно
нечаян, Я знаю – ждет надежда и язвит!»

410. Памяти Бориса Буткевича

Твоя судьба, великий трагик – Русь, в судьбе твоих замученных поэтов. Землей, намокшей в крови их, клянусь: ты не ценила жизней и сонетов.

Пусть тех нашла свинцовая пчела, пусть в ураганах подломились эти – судьбой и скорбью вечною была причина смерти истинной в поэте.

Черт искаженных – исступленный вид! – твоих жестоких знаков и волнений не перенести тому, кто сам горит, сам исступлен волнами вдохновений...

Не только душ, но их вместилищ – тел, горячих тел – ты тоже не щадила.

Я трепещу, что высказать успел все, что молчаньем усмирят могила.

В тот год, когда, разбужена войной, в коронной роли земли потрясала, – ты эти зерна вместе с шелухой, в мрак мировой рассыпав, растоптала...

В чужую землю павшее зерно, раздавленное русскою судьбою! И утешенья гнева не дано нам, обреченным на одно с тобою.

Наш гнев устал, – рождаясь вновь и вновь, он не встречает прежнего волненья, и вместо гнева терпкая любовь встает со дна последнего смиренья.

411. Дни мои... я в них вселяю страх...

Дни мои... я в них вселяю страх —
взгляд мой мертв, мертвы мои слова.
Ночью я лежу в твоих руках;
ты зовешь, целуешь этот прах,
рядом с мертвым трепетно жива.

Греешь телом холод гробовой,
жжешь дыханьем ребра, сжатый рот.
Без ответа, черный и прямой
я лежу, и гулкой пустотой
надо мною ночь моя плывет.

И уносит пустотой ночной,
точно черные венки водой,
год за годом, и встает пуста
память, тьмой омытая... Зимой
так пуста последняя верста
на пути в обещанный покой.

412. Дрожа, струится волнами бумага...

Дрожа, струится волнами бумага,
к руке слетает меткая рука.

Течет стихов молитвенная влага,
как плавная воздушная река.

Стучать весь день, и золотой и синий
от солнечных, от раскаленных тем,
разыгрывать на клавишах машины
симфонии торжественных поэм.

А за окном, где опустили выи
ихтиозавры-краны над мостом,
живут машины в воздухе стальные,
кишат на камнях, сотрясая дом.

Их скрежетом, ворчаньем, голосами
наполнен мир – большой стальной завод,
где вечный дух певучими стихами
сквозь лязг машинных валиков течет.

413. Дрожишь над этой жизнью – а зачем?..

Дрожишь над этой жизнью – а зачем?
Трепещешь боли, горя – а зачем?..
Ведь все равно непобедима жизнь —
Твоей судьбе ее не изменить.

Кричи в агонии; я жить хочу...
В тоске моли: я умереть хочу...
мри... живи... непобедима жизнь —
Твоим словам ее не изменить.

Подобен мир нетленному лучу.
Умри, ослепни, стань безумен, нем —
он так же будет петь, сиять, трубить:
непобедима и бессмертна жизнь!

414. Белые стихи

Для глаз – галлиполийских роз,
сирийских сикомор венки...
Но жалит в ногу скорпионом
эдема чуждого земля.

Здесь чуждый рай, там ад чужой:
стоzeвный вей, фабричный пал...
На заводских покатых нарах
и сон – не сон в земле чужой.

Раб – абиссинский пьяный негр,
бежавший с каторги араб
и ты – одним покрыты потом...
и хлеб – не хлеб в земле чужой.

Черства изгнания земля...
Пуста изгнания земля...
Но что считает мир позором,
то не позор в земле чужой.

Вы, глыбы непосильных нош,
ты, ночь бездомная в порту,
в вас много Вечного Веселья —
Бог — только Бог в земле чужой.

415. Пугливы дни безмолвною зимой...

Пугливы дни безмолвною зимой.
Чуть вспыхнет лед на окнах, уж страницы
шевелият сумерки. На книге оттиск свой —
— круг керосиновый — закрыла лампа. Лица
разделены прозрачным колпаком.
Шатаясь, ветер подпирает дом,
скребет ногтем задумчиво карнизы.
Наверно снятся голубые бризы
ему, бродяге северных болот.
Что ж, день, зевнем, перекрестивши рот,
закрыв лицо листом газетным ломким,
уткнемся где-нибудь от всех в сторонке —
на старом кресле и, вздохнув, уснем.
Пусть за нас дрожит в тревоге дом —
развалина, упрямое строенье;

пусть напрягает старческое зренье,
чтоб разглядеть сквозь эту тишь и глушь,
не скачет ли уже по миру Муж,
испепеляя – огненным копытом
войны последней – земли и граниты,
в пар превращая гривы пенных вод
и в горсть золы – земной огромный плод.

416. Солнце

1

В мире – о ночи и дни,
прах, возмущенный грозой! —
часто с безумной земли
видел я лик огневой.

Дымный Невидимый Зной
шел золотою стопой,
шел над землею в огне,
шел, обжигая по мне.

Видал его, как слепой,
веки закрыв, только дым
видя его золотой.

Все мы слепые твои,
Всеослепляющий Дым.
Молча на камнях сидим,
камнях, согретых тобой,

лица подставив свои
правде твоей огневой.

417. Солнце

1. Благодатной тревогой

Благодатной тревогой
колеблемый мир
обольщал мою душу.
Скрежет и вой
с хаосом смешанных дней
воздали ей громкую песнь,
облистали безумным огнем.

Но мечик июньского солнца просек
золотые пылинки,
отсек
прядь волос у виска,
и я, вздрогнув, проснулся: в детской

над книгой,
где я уснул в солнечном детстве
моем.

418

2. В эти опустошенные дни

В эти опустошенные дни
к краю неба все снова и снова подходит,
смотрит на землю
зачать новую жизнь после второго потопа,
когда не воды стремились на землю,
а ничто, пустота.

Исполни же миром немеркнувшим:
новой любви
беззаповедной, внегрешной
и бездобродетельной также,
имя которой просто и только любовь.

419. Дополнение к оде II

1

И я был, в строках, направлен
в ту пустынь рифм, и связь существ
я зрел, в навершии поставлен
одических и диких мест.
Добротолюбия законом,
российской светлостью стихов,
в том облачном – ответном – оном
к богооткрытию стал готов.

Врастающий в небооснову
там корень жизни зреть дано,
– исток невысловимый слова,
– его гномическое дно.

2

Совидцев бледных поколенья
богаты бедностью своей.

Был вихрь российский, средостенье
веков – умов – сердец – страстей.
Из апокалипсиса в доли
по черепам и черепкам
трех всадников вели глаголы,
немым неведомые нам.
Я зрел: передний – бледный всадник
скакал через цветущий сад,
и белый прах цветов и сад сник
в огонь, в дым, в сияние – в закат...
Но поутру вновь пели пчелы,
был страсти жалящий язык:
следами Данта в гром веселый,
в огонь вещный – вещий проводник.
Лишь отвлекали кровь касанья
стволистых девственниц – припасть,
березе поверяя знанье:
все – Бог, Бог – страсть.

3

Дано отмеченным бывает
сойти в себя, в сей умный круг, —
в такое в, где обитает
тысяче – лик, – крыл, – серд и – рук
царь нижнего коловращения

из узкого в безмерность вне
путь указующий из тленья,
в виденьи, вѣдѣнии и сне.
Не праотец ли, множа перстность,
путь смерти пожелал открыть
(чтоб показать его бессмертность
и в светлость перстность обратить), —
на брег опустошенной суши,
в плеск герметической реки,
где в отонченном виде души,
неточной персти двойники...

4

Бессмертные все эти слоги:
— Бог — страсть — смерть — я
слагали тайнописью строгий
начальный искуc бытия.
Но и в конце его — Пленира,
дом, мед — я знал, как в годы те,
пристрастия иного мира
и милость к этой нищете.
Когда любовь меня питает,
по разумению хранит,
когда она меня пытается,
зачем душа моя парит,

зачем речения иные
предпочитает мой язык,
ей непонятные, чужие
(косноязычие и зык), —
одической строкой приятно
мне в оправданье отвечать,
а если это непонятно, —
безмолвно, глядя, целовать
и думать:

5

сникли леты, боги,
жизнь нудит, должно быть и я
длю сквозь тяготы и тревоги
пустынножитье бытия.
Взгляну назад – зияет бездна
до стиковых немых полей,
вперед взгляну, там тот же без дна
провал, зодиакальный вей.
Средь вещного опоры ищет
здесь, в светлой темности твой зрак,
и призраком сквозится пища,
и плотностью страшит призрак.
Чуть длится свет скудельной жизни:
дохнуть – и залетейский сон,

приускорен, из ночи брызнет:

лёт света летой окружен.

Но и в сей час, в вей внешний взмаха

последний опуская вздох,

просить я буду: в персты праха

подай мне, ближний, Оду Бог.

Рукописные тексты

420. В дни, когда обессилел от оргии духа...

1

В дни, когда обессилел от оргии духа, слепой от сверкавшего света, глухой от ревевшего грома – пустой, как сухая личинка, ночной тишиной, я лежал, протянувши вдоль тела бессильные руки.

И смутные грёзы касались века, глядели сквозь веко в зрачки. Голос их бесконечно спокойный, глаза – отблиставшие, руки – упавшие, точно косматые ветви березы.

Я думал: не нужно запутанных символов – «умного» света нельзя называть человеческим именем, пусть даже будет оно – «Беатриче».

Не гром, не поэзия в свете, меня облиставшем, явились: сверкало и пело, пока нужно было завлечь меня, темного – наполовину глухого, отвлечь от святой мишуры... Не стремление, не «сладострастие духа», не оргия, даже не месяц медовый, но дни утомительной службы, но долг. И умолк мой

язык, как старик, бывший... юношей.

421... Написана там от руки черной тушью...

1

...написана там от руки черной тушью, значками условными повесть. Прочтем.

Дом просторный и светлый. Семья. Две сестры. Смех и песни от ранней зари до зари. Ночью – тайна в луне углублённого сада. В луне... Верить надо надеждам и стуку сердца.

Умирает внезапно отец. Распадаются черные громы и катятся с туч на долину...

Пахнет кровью. Колючий забор оплетает окопы. Слышен грозный глухой разговор отдаленных орудий... Вот рой пролетающий пуль. И все ближе, все ближе людей озверевшие лики и клики смущенной толпы...

Не сдаются улыбки и смехи, а сны всё уносят – порою – в мир прежний, в мир тихий и светлый... Случайной игрою —: звон шпор... блеск очей и речей... и таинственный шопот... и звук упоённого сердца: оно не желает поверить, что нет ему воздуха, света и счастья... оно ослепляет неверной, нежной надеждой... Венечной одеждой... ночами душистыми

ми темными шаг его громче звучит. Рот не сыт поцелуями дня.

От несытого рта отнимаются губы, чтоб ропот любовный сменить на глухую команду: «по роте...!» И где-то, в охоте (напрасной!?) людей за людьми, ей-ей! – неизвестными днями – часами – убит... И лежит на траве придорожной... и обнять его труп невозможно, поглядеть на застывшие взоры... штыки и запоры... заборы...

Меж тем, первым днем мутно-желтым осенним ребёночек слабенькой грудкой кричит..... Ночь молчит; за окном не глаза ли Земли?..

Дни бесцветные, страшные дни. Нету слез, глохнут звуки. И руки Работы давно загрубелые грубо ласкают привыкшее к ласкам иным ее нежное тело. В глазах опустевших Работы – дневные заботы бегут беспокойно; спокойно и ровно над ней она дышит. И видит она испещренное сетью морщин, осветлённое внутренней верой обличье, сулящее ей безразличие к жизни. И вот, припадает к бесплодной груди головой, прорывается скрытой волною рыданье с прерывистым хохотом, – с губ припухших, несущих еще поцелуи давнишние жизни...

422. Я всё возвращаюсь в аркады замолкшие храма...

Я всё возвращаюсь в аркады замолкшие храма.

Звучит, пробуждаясь, забытое старое эхо по сводам.

И плачет мучительно сердце и шепчет: не надо свободы — пусть годы проходят отныне в раскаяньях памяти.

Только луна разрезает узоры резных орнаментов и лента лучей опускается в серые окна, мне кажется, где-то рождаются звуки шагов...

С трепетом я ожидаю — безумие! — невероятной сжигающей встречи...

Мечта?!. В переходах мелькнул бледнотающий облик. — Сквозь блики луны слишком ясно сквозило смертельной бледностью тело.

Я бросился следом, хватая руками одежды, касаясь губами следов, покрывая слезами колени...

Где встали ступени в святая святых, где скрестились тени святилища с теньями храма, — как рама, узорная дверь приняла его образ с сомкнутыми веками, поднятым скорбно лицом.

Отдавая колени и руки моим поцелуям, он слушал прилив моих воплей о милости и о прощеньи.

И губы его разорвались —: к чему сожаленья — ты видишь — я жив.

Это звуки гортани его!.. Тепло его тела святое! И я могу пить пересохшим растреснутым ртом этот ветер зиждительный, ветер святого тепла... Мне дана невозможная радость!.. и это не сон? не виденье? не миги последние жизни?..

423. Мир это – дом весь сложенный непрочно...

Мир это – дом, весь сложенный непрочно из кирпичей полупрозрачных дней. Все призрачно, все непонятно, точно идешь по жалам тухнувших лучей.

Зажав ладонью пламя робкой свечки, я поднимаюсь в мир родного сна, где ждет меня с войны у жаркой печки, задумавшись над жизнью, Тишина.

Мне хочется в припадке нежной лени, целуя руки тихие, уснуть.

Но все рябят прогнившие ступени и тьма толкает в бездну вбок шагнуть.

424. Вечно может быть рано и вечно может быть поздно...

1

Вечно может быть рано и вечно может быть поздно все снова и снова касаться губами поющей тростинки и лить из горящего сердца все новые песни.

Но с каждой весной чудесней скопляются тени, загадоч-

ней падают звуки на дно потемневших озер и всплывает узор на поверхности водной, узор отдаленных созвездий.

И тише становятся песни, ясней зажигаются взгляды, и рада стоглазая ночь покрывать меня тихим своим покрывалом, шептать, обдавая дыханьем, и меньше все надо прозрачному теплему телу.

425. От моих поцелуев трепещут и бьются...

2

От моих поцелуев трепещут и бьются пугливые руки. И звуки печальные слов я готов уронить – я роняю – в пустые глухие разрывы часов пролетающей ночи.

Я вижу воочию лик непонятно святой, лик сияющий – той, что послушно отдала безвольные руки рукам моим... Больно, *мне* больно от скорби, склоняющей лик побледневший – почти потемневший от тайной тоски.

Что же это такое?!

Мы рядом, мы близко... тела поднимают цветы, восклицая: эвое! в расцвете зари, разрывая кровавые тучи, срываюся ветром веселые звуки тимпанов...

и две устремленных души – точно трели цевницы – в мечте голубиной туманов...

Зачем же бледны наши лица? Какая зловещая птица парит над уснувшею кровлей и бьется в ночные слепые и черные окна? Зачем пробегает по сомкнутым скорбным губам вереница улыбок – загадочных, странных, больных?

Что скрываешь, о чем ты молчишь, непонятная девушка?

Тело твоё вдохновенное, тело твоё совершенное здесь, рядом с телом моим – вот, я слышу шум крови, дрожание жизни; касаюсь его, изучаю черты, покрываю усталую голову жесткими косами, точно застывшее пламя лучей...

Правда, – миг...

но пусть будет он ночью, пусть тысячью и миллионом ночей, – разомкнутся ли губы, сойдут ли слова, пробегут ли случайные тени? взойдет ли нога на ступени, откроет ли робко рука двери храма, святая святых, полутемного, полупрохладного; возле ковчега склоню ли колени, ковчега твоей плотно замкнутой тайны?

Зачем так случайно, зачем так печально меня повлекло к твоему непонятному телу?

зачем так послушно ты мне протянула пугливые руки, несмелые звуки признаний прослушала молча?

Вот, нету теперь ожиданий трепещущей радости, нету желаний влекущего грознокипящего злого предела!

Пропела печальная флейта и нет уже звуков – в ответ – еле слышное эхо в лесах – над рекой.

Я почти ощущаю широкие взмахи несущейся ночи.

И точно вздымаются в страхе далекие дни, как крикливая стая, взлетая и падая вниз.

Вот спокойно и твердо встаю — так пойду я навстречу опасности, полный сознания ее.

Голос тверд и отчетливы жутко движения. Ты чувствуешь это и ты уронила: мне страшно...

Глухо закрылось крыльцо, сквозь стеклянную дверь потемнело склонилось лицо.

Ухожу с каждым шагом все дальше...

426. Из «Петруши». Часть вторая

3

сц. II

Грязная кухонка. Большая печь. Грязные ведра, метла, связка дров. Корыто. В углублении засаленная штопаная постель.

Тетка — старая, сухая, в мужниных сапогах. Входит Петруша.

Тетка: куда только тебя черти носят? навязался на мою шею! красавец! Горб-то спрячь свой, чего выставил. Тетка старая, еле ноги волочит, а ему бы по полям шнырять. Сели на мою шею... Вынеси ведро.

Петруша с трудом, кряхтя исполняет это. Ему, видимо, очень тяжело.

Тетка: отец твой сегодня появился...

Петруша выронил ведро, мгновенно побледнел.

Тетка: Чего стал? Пойди, поцелуйся. На дворе лежит. Предлагала ему в доме, на людях не срамиться – нет, потащил туда сено. Водкой так и дышит.

Петруша (с трудом): Папа?

Тетка: Да, папа... Гибели на вас нет с твоим папой. Сынок в отца пошел. Ну, чего стал? Смотри, что на плите делается.

Сама ходит и тычется всюду, видимо, без дела. Ворчит.

Петя: Сами, видно, тетушка, с утра...

Тетка: Змееныш! Пошипипи у меня... Да с вами не только что пить выучишься!.. Живуча как кошка, как кошка – недохнешь. Смерти нету... Никакой жизни. (Роняет что-то)

Петя: Пошли бы вы лучше на огород. Я тут посмотрю. Нечего вам толкаться. Мешаете только.

Тетка: Ты что? Старой женщине указываешь (идет к постели) стара уже, чтобы такие вещи слушать. Господи, Господи! Теперь никого не слушают. (Ложится) О-о! О-о! Петюшка... Петюша!

Петя: Чего?

Тетка: Ты смотри, чтобы отец не как в прошлый раз... А то все вынесет – старая я, ноги меня не носят. Всю жизнь, всю жизнь!.. Ничего скоро не останется... Обворовали старую, обошли... Дура и есть. Похоронить не на что. Небось, умру – в огороде закопаете, как собаку.

Петруша со страдальческим лицом быстро подметает. Выносит мусор. Ровно складывает дрова. Убирает посуду. Принимается за плиту. Сам на ходу отрезает кусок хлеба и ест – видимо, голоден. В закрытое паутиной и грязное окно еле пробивается свет. На дворе темнеет.

Тетка: В какое время пришел. Уже спать пора, а не есть.

Петя (вполголоса): Откуда это взялось, что я все должен делать: и воду носить, и обед готовить. Минуты свободной нет...

Тетка: Чего, чего?..

Петруша поет очищая картофель. Плита разгорается.

– Надо бы родиться,
Чужим хлебом питаться,
В церкви в праздник молиться,
На войну призываться.
А задумавшись сяду:
Для кого это надо?

сц. III

Та же кухонка. Постель с теткой углубляется. Печь вырастает. Она почти имеет человеческое лицо с закрытыми глазами и пылающей четырехугольной пастью. Морду свою она положила на лапы – подпорки. Кастрюли на стене позвякивают, мотаясь взад и вперед. Петруша отклонился на спинку стула. На его коленях раскрыта книга, но глаза его закрылись и голова свесилась.

Горшки на плите оживают в неверном свете сумерек. Толстый котел настраивает контр[а]бас. Высокий чайник с длинным носом и шарфом на шее что-то наигрывает на флейте. Старый кофейник, стоящий тут же, приготовляет скрипку. Маленькие котелки, присев, выбивают дробь на барабанах.

Зайчики от огней печки пляшут по стене, меняя формы. Один из них, прыгнув на плиту, машет руками. Котлы смолкают. Зайчики-световки строятся в ряды, ожидая музыки.

Дирижер-световка стучит палочкой. Барабаны начинают отбивать дробь. Световки сходят со стены и обходят комнату. Одежды их трепещут. Одни из них очень длинные, другие короткие. Ноги и руки непропорционально коротки или длинные. Самые причудливые и уморительные пары.

В дробь барабанов входят тонкие звуки флейты. Она поднимается все выше-выше. Вслед за световками слетают лег-

кие девочки с распущенными волосами; они кружатся по комнате, бросая друг в друга цветами; их смех рассыпается звонко.

Вдруг контрабас начинает гудеть, то понижая, то повышая голос. Отстав на такт, за ним спешит скрипка.

Световки топают ногами и, поднимая руки, кривляясь, пускаются в пляс. Девочки увиваются между ними. Все смешалось. Музыка невыразима. Музыканты играют различные мотивы и разным темпом. Барабаны трещат непрерывно.

Внезапно все смолкает. Световки шарахаются к стене.

Хор вдали: Голос сердец человеческих... голос сердец, осужденных дрожать, точно лист пожелтевший на ветке нагой.

Твой отец, твой отец, утомленный, нагой, видишь – манит рукой.

Обведи свое сердце стеной, золотыми гвоздями забей его дверцу из кедра, – бесплодные недра Земли не раскрылись пока.

Пусть, как мельница, машет рука твоего утомленного жизнью отца – укачайся на волнах,

(музыка тихо повторяет мотив)

на волнах огней золотистых...

(Световки теряют личины. Стройные юноши и девушки в прозрачных одеждах окружают его) в одеждах сквозистых они проплывут.

Световки танцуют странный торжественный танец. Темп музыки ускоряется. Световок делается больше. Одна отделяется и подходит к Петруше. Белые руки, голубые глаза, золотые волосы. Нежно заглядывает в глаза.

Световка: Милый, милый... Я тут.

Петруша просыпается. Первое бессознательное движение – улыбка ей.

Световка: Точно синие крыльями блещут стрекозы, трепещут стыдливые взоры. Их танец дурманит. Скорей поднимись, обними мое детское тело. Сквозь воздух, сквозь пламя оно пролетело, чтоб взгляды твои осветить. Что же веки твой взор от меня закрывают.

Петя: Я рад, но мой горб не пускает. Нам с ним не расстаться.

Световка (дотронулась до него, горб спадает): Спешим!

Смешиваются с танцующими. Проходят пары.

Первая пара:

Она: Вы льстите, обманщики, вижу насквозь – неудачно.

Он: Я думаю, трудно не видеть, когда мы прозрачны. И я сквозь прекрасные формы и ваши черты вижу пищу у вас и кишки.

Другая пара:

Он: И зачем притворяться и умную всю городить чепуху, чтобы после так скверно закончить последним и грубым хочю.

Третья пара отбегает в сторону.

Он: Поцелуй, умоляю, один.

Она: Что за глупость.

Он: Пусть глупость – она добродетель. Вот скупость – порок.

Она вырывается. Он споткнулся о другую пару.

Она: Вам урок.

Петруша и световка.

Петруша: Зачем это сделано? Кем? Им, все им? Одному тяжело, чтобы было еще тяжелее двоим!

Световка: Тяжелее? Нет – легче. (Кладет ему на плечо голову).

Петруша: Эх! Глупости, глупости это. Так много печали, страдания – и крошка упавшая света. Зачем?!. Человек – целый век... Век? Нет – несколько лет он налитыми кровью ногтями на кладбище роет могилу и строит свой дом с деревянным крестом на некрашеной крыше. Глаза его красные смотрят упорно, горят, – фонари, ищут счастья, любви и покоя. Ищи!

Световка; Не найдешь?

Петруша: Не найти.

Св.: Ха-ха-ха!

П.: Как устал, как устал!

Св.: Ха-ха-ха!

П.: Ты смеешься.

Св.: Ах глупый. А ну-ка, взгляни мне в глаза. Губы, крас-

ные губы!^{1}

Хочет обнять ее.

Св.: Как руки твои неумелы и грубы. Ты долго стоял на большом сквозняке. Мок в воде слез своих и чужих. Мальчик, ты огрубел. Ты забыл, что все ласки — они целомудренны. Матери —

П.: Матери!?

Св.: Что?

П.: У меня нету матери...

Св.: Бедный. Теперь ты не веришь, что может быть все хорошо. Так светло.

П.: Так светло?.. Нет, не верю. Исполни и дай моим жадным рукам все, чего я хочу, и тогда я поверю.

Св.: Чего же ты хочешь?

П.: Чего? (Растерялся) Залу...

Св.: Залу?..

П.: Дворец.

(Все исчезает)

Сц. IV.

Огромная зала. Арабская архитектура. На стенах мозаичные орнаменты.

Петруша беспомощно оглядывается. Ходит и притрагива-

^{1} Здесь в рукописи рисунок, изображающий губы (?).

ется руками к предметам. Она ходит за ним, глядит на него. Он опускается на пол.

Световка: Ну?... Молчишь?

Петруша: Я... не надо... Мне – маму увидеть.

Из-за колонн выходит бледная женщина. Слегка сутула. На ней простое платье. Идет к нему. Он внимательно смотрит.

П.: Так это... так это...

Св.: Сильней напряги свою память, не то она в воздухе ночи рассеется.

Он смотрит внимательно. Напрасно. Она тает и пропадает.

П.: Нет, не могу... И не надо.

С.: Ты грустен?

П.: Ты видишь, мне нечего здесь пожелать.

С.: А меня? (ластится к нему)

П. (робко): Ты не призрак?

С.: Я – сонная греза. А сон – половина положенной жизни. Зачем вы так мало ему придаете значения. Вот ты говорил: жизнь – мученье. Да, жизнь наяву. Но во сне... Каждый радости ищет в себе. Мир в себе... Потому так и счастливы звери и травы... и люди, которые проще, как звери. А ты – тоже можешь – в себе... (громко) Двери, двери!

Со всех сторон появляются странные серые создания с красными глазами и лапками. Они катятся, прыгают друг через друга.

С.: Ну, что вы? сказала вам: двери.

Они сметаются. Двери закрыты.

П. (со страхом): Кто это?

С.: А сторожи ваших жилищ. Охраняют людские жилища. Комки сероватые пыли. Не требуют пищи, дрожа по углам. Призывают вас вечно к работе. В лучах золотого и доброго солнца играют... Взгляни же в себя. Глубже, глубже. Вот так... Что ты видишь?

П.: Я вижу – колеса.

С.: Колеса?

П.: Цветные, в огнях... драгоценный узор. Колесница несется, взвиваются кони. Их гривы сверкают... Мне больно, мне больно глазам.

С. (Прижимается все ближе и ближе к нему): Ты дрожишь...

—

427. Сын века

(Сонет)

Насытившись блаженным видом снов своей жены, я целый день готов горсть хлеба выгрызать из скал с рычаньем, благодаря в молитве за ничто.

Вы видите, каким пустым желаньем копчу я нынче наш небесный кров. Вы скажете, – устал я от познания, от

дерзости несслыханной и слов?

Наверно, нет: когда ночным мерцанием забродит мир, во сне я мерю то, что одолеть еще не мог дерзаньем, чтобы верней, скопившись сто на сто, вцепиться в гриву неба с ликованием, прыжком пробивши череп расстоянья.

428. Я не один теперь – я вместе с кем-нибудь: со зверем...

Я не один теперь – я вместе с кем-нибудь: со зверем, дышащим в лицо дыханьем теплым, щекочащим горячей шорсткой грудь, когда в ночи грозой сверкают стекла;

и, только день омытый расцветет, я раскрываю миру свои веки – все, что живет, что движется, зовет: деревья, звери, птицы, человеки – мне начинается вечный свой рассказ, давно подслушанный и начатый не раз; и даже хор мушиный над столами, следы, в песке застывшие вчера... мне говорят бездушными губами все утра свежие, немые вечера.

Их исповедь движения и слова мне кажется к шагам моим тоской. Спуститься сердце малое готово к ним неизвестной разуму тропой.

И иногда я думаю тревожно: когда скует бездвижье и покой, и будет мне страданье невозможно, – увижу ли сквозь землю мир живой? Какие грозы мутными дождями мое лицо слезами оросят, когда в земле под ржавыми гвоздями лас-

кать земное руки захотят!

429. Жатва (В движеньи времени, лишь вспыхнет новый день)...

В движеньи времени, лишь вспыхнет новый день, мы в прошлое отбрасываем тень, и наше прошлое под тенью оживает (так ствол подрубленный от корня прорастает).

Дай крепость зренью, слуху и словам, чтобы, прикрыв дрожащие ресницы, прошел в уме по прежним берегам, где теплятся потухшие зарницы.

В моих блужданиях следуй по пятам, Ты, уронивший в эту пахоть мысли, — дыши дыханьем, ритмом сердца числи.

Пусть чувствует дыхание Твое и я, и каждый, кто страницы эти раскроет молча где-нибудь на свете, в котором тело таяло мое.

22. IX.27. Острог, Замок.

430. Ребенком я играл, бывало, в великаны...

1

Ребенком я играл, бывало, в великаны: ковер в гостиной помещает страны, на нем разбросаны деревни, города; растут леса над шелковиной речки; гуляют мирно в их тени стада, и ссорятся, воюя, человечки.

Наверно, так же, в пене облаков с блестящего в лучах аэроплана парящие вниманьем великана следят за сетью улиц и садов и ребрами оврагов и холмов, когда качают голубые волны крылатый челн над нашим городком пугающим, забытым и безмолвным, как на отлете обгоревший дом.

Не горсть надежд беспмятными днями здесь в щели улиц брошена, в поля, где пашня, груди стуже оголя, зимой сечется мутными дождями. Свивались в пламени страницами года, запачканные глиной огородов; вrostавшие, как рак, в тела народов и душным сном прожитые тогда; – сценарии, актеры и пожары – осадком в памяти, как будто прочитал разрозненных столетий мемуары.

За валом вал, грозя, перелетал; сквозь шлюзы улиц по дорожным стокам с полей текли войска густым

потоком, пока настал в безмолвии отлив. Змеится вех под лесом вереница, стеной прозрачной земли разделив: там улеглась, ворочаясь, граница.

За то, что Ты мне видеть это дал, молясь теперь, я жизнь благословляю. Но и тогда, со страхом принимая дни обнаженные, я тоже не роптал. В век закаленьея кровью и сомненьем, в мир испытанья духа закаленьем травинкой скромной выросший, от Тебя на шумы жизни отзвуками полный, не отвечал движениями на волны, то поглощавшие в мрак омутов безмолвный, то изрыгавшие, играя и трубя.

В топь одиночества, в леса души немые, бледнея в их дыханьи, уходил, и слушал я оттуда дни земные: под их корой движение тайных сил.

Какой-то трепет жизни сладострастный жег слух и взгляд, и отнимал язык — был ликованием каждый встречный миг, жизнь каждой вещи — явной и прекрасной. Вдыхать, смотреть, бывало, я зову на солнце тело, если только в силе; подошвой рваной чувствовать траву, неровность камней, мягкость теплой пыли. А за работой, в доме тот же свет: по вечерам, когда в горшках дрожащих звучит оркестром на плите обед, следил я танец отсветов блудящих: по стенам грязным трещины плиты потоки бликов разноцветных лили, и колебались в них из темноты на паутинах нити серой пыли.

Но юношей, с измученным лицом — кощунственным

намеком искаженным, заглядывал порою день будённый на дно кирпичных стен – в наш дом: следил за телом бледным неумелым, трепещущим от каждого толчка – как вдохновенье в сердце недозрелом, и на струне кровавой языка сольфеджио по старым нотам пело.

Тогда глаза сонливые огня и тишины (часы не поправляли), пытавшейся над скрежетом плиты навязывать слащавые мечты, неугасимые, для сердца потухали: смех (издевательский, жестокий) над собой, свое же тело иступленно жая, овладевал испуганной душой. Засохший яд вспухающих укусов я слизывал горячею слюной, стыдясь до боли мыслей, чувств и укусов.

Боясь себя, я телом грел мечту, не раз в часы вечерних ожиданий родных со службы, приглушив плиту, я трепетал от близости желаний – убить вселенную: весь загораясь огнем любви, восторга, без питья и пищи, и отдыха покинуть вдруг жилище; и в никуда с безумием вдвоем идти, пока еще питают силы и движут мускулы, перерождаясь в жилы.

То иначе —: слепящий мокрый снег; петля скользящая в руках окоченелых, и безразличный в воздухе ночлег, когда обвиснет на веревке тело...

В минуты проблеска, когда благословлял всю меру слабости над тьмой уничтоженья – пусть Твоего не слышал приближенья, пусть утешенья слов не узнавал – касался м.б. я области прозренья.

431. Самосознание (Оно пришло из сердца: по ночам я...)

2

Оно пришло из сердца: по ночам я чувствовал движение где-то там; шаги вокруг – без роста приближенья, как будто кто-то тихо по кругам бродил, ища свиданья или мщенья. Как пузырьки мгновенные в пенё, сжимая вздувшись пульс под кожей в теле. Всё недоверчивей я жался в тишине к *тому*, что дышит на весах постели. Потом и днем его машинный ритм стал разрывать мелодию быванья и марши мнений.

Только догорит днем утомленное от встреч и книг сознание, и только вдоль Господнего лица зареют звезды – пчелы неземные, и с крыльев их посыпется пыльца в окно сквозь пальцы тонкие ночные, – я в комнате лежу, как тот кокон, закрытый школьником в табачную коробку, а дом живым дыханьем окружон, вонзившийся как диск в земное топко; и сеются по ветру семена, летят, скользя, в пространство эмбрионы, сорятся искры, числа, имена и прорастают, проникая в лона.

Дрожит небес подвижный перламутр, растут жемчужины в его скользящих складках.

Черты земли меняются в догадках – по вечерам и краской дымных утр.

Здесь, в сонных грезах космоса, сознание нашло облипший мясом мой скелет – под мозгом слова хрип и клочкотанье, в зрачках, как в лупах, то туманный свет, то четкие подвижные картины (над ними – своды волосков бровей, внизу – ступни на жестких струпьях глины), и гул, под звуком, раковин ушей.

Как сползший в гроб одной ногой с постели вдруг замечает жизнь на самом деле, – я, сотворенный вновь второй Адам, открытый мир открыть пытался сам: под шелухой готового привычки искал я корни, забывая клички, чтоб имена свои вернуть вещам.

От пыльного истертого порога я паутинку к звездам протянул, чтоб ощущать дрожанье их и гул – и возвратил живому имя (: «Бога»).

Следила, как ревнивая жена, за каждым шагом, каждой мыслью совесть. С улыбкой выслушав неопытную повесть о прошлом, сняла крест с меня она. Ее любимца, строгого Толстого я принял гордое, уверенное слово и слушал эхо вызова: семья!.. там, где брожение духа и семян.

Но, снявши крест, не снял личину тела: по-прежнему под пеплом мыслей тлела уродец маленький, запретная мечта, напетая из старой старой песни, где муж снимает брачной ночью перстень, спасая девственность в далекие места. И под ее таким невинным тленьем вдруг пламя вспыхнуло со свистом и шипеньем.

432. Однажды вечером у нас в гостях...

3

Однажды вечером у нас в гостях, на слабость жалуюсь, от чая встала дама и прилегла на мой диван впотьмах, как бережно ей приказала мама.

Уже на днях случилось как-то так, что стали взору непонятно милы в ней каждый новый узнанный пустяк – то шаловливое, то скорбное лицо, давно на пальце лишнее кольцо и светлое – для близких имя – Милы.

Когда чуть бледная, прижав рукой висок, она на свет допить вернулась кружку, – тайком к себе переступив порог, я на диван согретый ею лег лицом в душисто теплую подушку. И, прижимаясь нежно к теплоте и волоску, щекочащему тело, я в первый раз в блаженной темноте был так приближен и испуган ею.

Ряд продолжающих друг друга длинных встреч, не конченных досадно разговоров; обмолвки, стыдные для краски щек, не взоров, и в близости, вне слов, вторая реч. Однажды понял я, как жутко неизбежно то, что скрывается под этим зовом нежным похожих мыслей, безмятежных дней; сравнение жизней, наших лет – во

всей пугающей несхожести раскрылось, и на минуту мысль моя смутилась...

433. Войди в мой Дом, чтоб отделили двери...

Войди в мой Дом, чтоб отделили двери от непонятного.
С тобой одной вдвоем в словах и ласках, зная или веря,
забыть и том, что окружает дом!

Сквозь закопченные зарей и тленьем стены, закрытые
весной листвой колонн, следить цветов и формы
перемены и слушать птиц волнующий гомон.

Когда лучи поймают паутиной и безмятежно жмешься ты
ко мне, – мне кажется, с полей, размытой глиной свет
приближается опять в цветущем дне.

Гораздо тише, ласковей и проще целует волосы когда-то
страшным ртом – показывает пастбища и рощи, и капли
в сердце маленьком твоём.

434. Пылинка – я в начале бытия...

Пылинка – я в начале бытия, оторвано от божьей плоти
звездной, комком кровавым полетело в бездну, крича и
корчась, корчась и крича. Там, падая, моргая изумленно,

оно

кружилось, различая сны, пока к нему из темноты бездонной Бог не приблизил звездной тишины. Как пчелы жмутся на рабочем соте, к соскам – дитя, и муж – к теплу жены, как пыль к магниту, я прилипло к плоти приближенной великой тишины. Сквозь корни, вросшие в божественные поры, в нем стала бродить тьма – господня кровь! Оно томилось, открывая взоры и закрывая утомленно вновь.

Так, шевелясь и двигаясь, томится, и утомится трепетать и пряхсть – окончив двигаться, в господнем растворится, господней плоти возвращая часть.

435. Днем я, наполненный заботами и страхом...

Днем я, наполненный заботами и страхом за пустяки мелькающие дня, спокоен, зная, что за тихим взмахом дверей в своей светелке – жизнь моя:

в капоте – желтом с белыми цветами —, с ногами в кресле бархатном сидит, недоуменно ясными глазами за мной сквозь стены мысленно следит.

На мне всегда ее любви дыхание, и каждый миг могу, оставив путь, придти к ее теплу и трепетанью и в складках платья мягких отдохнуть!

436. еще в палаццо захолустном...

22

ещо в палаццо захолустном
среди кирпичных колоннад
над плакальщицей меловою
их сверстник лиственный шумит
гулявшие на перевале
гуманистических эпох
что думали они о ветхих
тиранах и своих грехах

437. Песня (журавлиный грай колодца...)

2

журавлиный грай колодца
песнь и дым с туманом вьется
скрипучи колеса
вдоль крутого плеса

в плесе месяц сучит космы
от ветра белесый
милозвучны и речисты
в поле чистом косы
скачет в поле жеребец
с взъерошенной шерстью
при дороге спит мертвец
сиротливой перстью

438. Полевой отшельник (в рубахе красной и портках исподних...)

4

в рубахе красной и портках исподних
босой стопой в огне колючем трав
с почти безумным взглядом отвлеченье
здесь в заточеньи полевом живет

из ворота – седой крапивный мох
на корточках в кирпичный кладень дует
на очажок где пляшут саламандры
вкруг котелка с крапивною похлебкой

среди заржавелых проволок щипков

в окопной сохранившейся землянке
арабский аристотель птоломей
война заглохшая и – философский камень

в ту пустынку друг отшагал землей
волнующейся синими холмами
и юные венком седины друга
обветроокрасных щок и лба вокруг

рукой квадратной красной и распухшей
в борьбе с пространством мыслью и ветрами
юнец из рук учителя берет
тайн олицетворенную колоду

и сверху вниз протянуты три связи
из ока неба: к другу в землю в грудь
отшельника – три желтые от краски
сместившейся в наузах-узелках

439. без малого ровесник веку...

30

без малого ровесник веку,
кто верил в мир, а жил в грозе,

я видел гордый взлет машин,
а после – страшное их дело.
Но что забавней: пустота
и в и вне, и в том, что между:
в самом усталом глупо теле
и есть ли кроме что еще!
И на земле война: стреляют
на улицах, а на столбе
при свете спички ищут имя
приговоренного на снос

440. Сын Филимона (силлабические стихи)...

8

1

с пчелиных крыльев: ада
предвещает зараза
надежда теней вечных
филимону – ласки
белый лоб филимона

платками повязан
дикий лик филимона
белее повязки
войною полноводной
кровью вихрем громом
сбитый лист неся полем
дорогой ночью:
некогда филимону
кровней чем бавкида
открытка пала вестью
в ящик над паромом
не окрыленной вестью —
как смерть жестяною
сын мой дальний и блудный
без крова и вида

441. Polonia (птицы – рок налетают...)

2

птицы – рок налетают
мечут гром железный
стай не пугает солнце
и синий свод взорван
полдень мрачнеет дымом

ночь стала беззвездной
в Польше черно от крыльев
лавр Норвидов сорван
он валялся в дорожном
прахе где хромая
шол офицер с повязкой
опустивши веки
над дорогою выла
та стальная стая
он же шептал не слыша:
навек навек
в Люблин спасая рифмы
о измене ники —
глупой девы победы —
Чехович орфеем
заблудившейся бомбой
на части размыкан
а под лесом Виткацы
с заплаканным ликом
где в глинке перстной слезы
чернели хладея
бритвой заката мерил
глубь смертной затей

442. Облачный город (град драконом змеится...)

3

град драконом змеится:
у лавок — хвостами
сандалий деревянных
стуком легким полнясь
так поэта когда-то
досочки стучали
так змеится сияньем
обмирая полюс
голод ненависть моры
все все бе вначале
на ремешки сандалий
изрезан твой пояс
от облака сверкая
бомбовоз отчалил
но древним культом мертвых
травянится поле
зачатья агонии
вновь хлеба насущней
хлеба нет и избыток
вещих снов числ мыслей

прозрачней ключа речью
опасность несущей
стали стихи: как птицы
оперясь и числа
голубь их из ковчега
над черною Вислой
прокрылил бесприютный
над потопной сушей

443. Поэту (негодующей тенью...)

4

негодующей тенью
сливая ладони
ропотом песен землю
и смертность ославив
дойдя до дня позора
в безумья оправе
на стола бесприютном
простерся он лоне
в тьме бетховенской маской
оглохшею тонет:
точно слышит в бессмертья
и гармоний праве

праху слышные громы
о посмертной славе
чей перст костлявый больше
звуков не проронит
дух проносится в воен
косматые вои:
над нишами двух крестных
глубоких подлобий
над усопшей последней
несвязной строфою
веков нелюбопытных
погасшей в утробе
и понурые стражи
бредовые вои
сторожат чтобы перстность
не встала во гробе

444. по свету розлетелась вата...

по свету розлетелась вата
слежавшихся за рамой туч
любовь весною синевата
как в кровь раздавленный сургуч

(во сне).

Варианты

76. Среди моря полей холмистого...

Среди моря полей холмистого встретил Миша Милу Алексеевну.

Улыбнулась приветно его молодости – до самого сердца вожглась улыбкой.

Под кумачами зорь, под парчами ночей, над бархатом зеленым лугов —

смущала его Мила Алексеевна, целовала его поцелуйчиками.

Точно пчелка ее губы возле губ его увиваются. И однажды стала и ужалила.

Говорит ей Миша восторженно: «Нынче будет великий день – записать его надо и праздновать —: Огонь-небо сошло на меня, Огонь-небо взорвало небеса, и случились со мной чудеса. – «Ничего мне в жизни больше не надо; ничто меня в жизни не прельстит – не очарует, кроме света духовного. – Познал я сегодня смерть.

«Открой, Мила Алексеевна, свою шею нежную, вынь за пазушки теплый серебряный крест – «здесь же хочу ему помолиться, к нему приложиться, ему посвятиться, с тобой ради него проститься. Хочу из мира уйти».

Улыбнулась Мила Алексеевна Мишиной ребячливости.

А Миша впрямь становится холоден – от людей затворяется, молится, лампаде кланяется, с грехами борется, с чертями в чехарду играется.

Умирают люди, рождаются, на разные дни пасхи приходится, улицы с лица меняются. Миша больше ночами не молится: у него больше грехов не находится. Далеко до неба, к аду близко.

Тучи над полями пустынными низко. Сходит Миша в поля, дышит Миша полями; ложится на травы прошлогодние, к небу руки протягиваются. Горло сжимается, слезы из глаз текут. Слезы в траву падают. Где слеза упадет – цветок расцветет, голубой как кусочек неба.

Расцветает, тянется к небу, как в море капелькой, а жизни ему один день – не дотянется, свянет, сморщится. А на месте его новым утром уж новый цветет. И так до поздней осени. Не сорвать его, как человеческой души, не вложить в букет, как печали. Зовут его Петровыми батогами – цикорий цвет.

Вернулся Миша к солнцу – человечеству.

Бродит полями. От мысли пугается, от мысли встретить там Милу Алексеевну.

Да нет ее, не находит.

Только во сне видится лицо ее, только в памяти сквозит она, по-прежнему – ясная.

По лугам, по пустырям: разные травы от ветра мотаются, качаются, дрожат, шевелятся. Острые – шершавые пригибаются.

Коварные – ползучие, точки-сережки-кружевные дрожат, перепонки колючие татарника шевелятся. Разорвалось небо огненное, занялись руна облачков – бежит объятное пламенем стадо, клочки шерсти разлетаются, горя, – на луга, на травы. Раскрывает объятия заря, погружает в свое тело – свои ароматы.

От счастья застывшая земля оглупевшая, бледная, смежила черные ресницы в обонянии страсти; трепещет, поворачивается, погружается в счастливый сон.

Две слезинки – две звездочки копятя, загораются, стекают по матовой коже неба.

Страсть у дня вся выпита; разжимаются руки сквозиться, руки – белые облачки, опадают вдоль лесов, вдоль покосов. Вырастает пропасть черная между грудей земли и неба.

«Травы! Росы! По пустырю, из колючих татарников не стыдно мне подглядывать ласки заревые земные-небесные. Мне обидно, жутко, завидно.

«Росы! Травы! мои следы целуете! Мне одиноко».

Кто-то ходит, кто-то плачет ночью.

Моет руки в росах, моет, обрезая травами.

Жалуетя: «Никому больше не пришлось мое сердце, никого больше не видят мои глаза, никто больше не

сожжет мое тело.

«Травы! Ваши цветы над землею с ветрами шепчутся; всем открыты, названные, известные; ваши корни тянут соки земные пресные.

«Не слыхали вы чего о Миле? Моей ясной, теплой, единственной?»

Шепчутся травы, качаются; с другими лугами, с хлебами переговариваются, советуются. Сосут молча землю, грозят пальцами небу прозрачному. Думают, перешоптываются, сговариваются, как сказать, как открыть истину: что давно могила раскопана, давно могила засыпана, осталось пространство малое, где доски прогнили – комочки земли осыпаются от шагов человеческих, от громов небесных.

Екнуло что-то в земле и откликнулось.

Прошумела трава.

Веют крылья – ветры доносятся.

С пустыря через колючие заросли кличет Мишино сердце предчувствие в дали ночные – глубокие. Свищет ветер в ложбину, как в дудочку, зазывает печали, развеивает из памяти дни одинокие, высвистывает.

Черной птицей несут крылья воздушные, вертят Мишу по полю – полю ночному – серому.

Глазом озера смотрит ночь, шевелит губами-лесами черными. В ее гортани страшное слово шевелится:

Xha-a-ah-xha-c-c-смер-ерь —

слушает Миша, отвечает ночи: «Что ты меня пугаешь, ночь, стращаешь-запугиваешь?

«Разве я мотыль однодневка? Я не видел, как зори меняются, не слышал, как дни рождаются? Сколько дней-ночей на моей памяти!»

Конвульсивно дышит ночь, с трудом выговаривает: «Хха-а! Дни и ночи на твоей памяти! А сколько жизней на твоей памяти? Человек рождается состариться. Когда человек обновляется? Куда память о нем девается?»

«Что ты меня стращаешь, ночь, морочишь-запутываешь. Разве я зеленый юноша? Давно разные мысли замечены, кровью ответы отвечены, горем уроки пройдены».

Ахнула ночь, покатила. Око ночи в озеро-лужицу превратилось, пьяные губы ночные – в лес.

Очутился Миша под книгой небес, ее звездными страницами, где сосчитано истинное время, установлена единственная жизнь. Две слезинки навернулись. Звезды лучиками протянулись – посыпались серебряным дождем.

Весь пронизанный голубым светом, весь осыпанный звездным снегом, стоит Миша и видит чудо необычное: Разбегаются холмистые леса, раскрываются земные тела, из мглы улыбается лицо – милое, знакомое – неподвижной застывшей улыбкой —: «Возвратился, мальчик! Да и я тебя не забыла: о тебе все думала, предвидела; о тебе позаботилась. «Чтобы понял ты

скорей других: для чего жизнь нам отмеряна, на что сердце отпущено, зачем глаза даны;

«Чтобы ты не покидал дорог, чтобы правду и себя найти мог, устранила я единственный соблазн: положила в землю мое тело жадное.

«Так-то лучше с тобой говорить, так спокойней тебя наставить. «Погляди, какая ночь прекрасня! «Ощути свое живое тело. «Ты вернись сейчас в свою комнату; помолись, в постель ложись. Я тебя тепленько укутаю, над тобой песенку спою, чтобы глазки твои слаще стали, сердечко лучше отдохнуло, успокоилось —: будет горе, а будут и радости».

209. Не научившись быть вполне земным...

Не научившись быть вполне земным,
я не умею быть еще жестоким.

Мои слова оглушены высоким,
неуловимым, тающим, как дым.

На этот кров — наш шаткий тесный дом —
не ринутся слова мои обвалом, —
хотят светить прозрачным огнем,
возвышенным в униженном и малом.

Горевшее то тускло, то светло,
косноязычное от сновидений тело,
ты никогда справляться не умело
с тем, что в тебе клубилось и росло.

И вот, теперь молитвою-стихами,
чем до сих пор преображались мы,
как рассказать о том, что нынче с нами:
о этих камнях и шатре из тьмы,

о радости дыхания ночного,
о непрозрачном, теплом и простом,
о близости телесной, о родном...
Как воплотить в комок кровавый слово!

211 а. Эмигрантская поэма

Для глаз – галлиполийских роз,
сирийских сикомор венки...
Но жалит в ногу скорпионом
эдема чуждого земля.

Здесь чуждый рай, там ад чужой:
стоzeвный вей, фабричный пал...
На заводских покатых нарах
и сон – не сон в земле чужой.

Раб – абиссинский пьяный негр,
бежавший с каторги араб
и ты – одним покрыты потом...
и хлеб – не хлеб в земле чужой.

Черства изгнания земля...
Пуста изгнания земля...
Но что считает мир позором,
то не позор в земле чужой.

Вы, глыбы непосильных нош,
ты, ночь бездомная в порту,
в вас много Вечного Веселья —
Бог – только Бог в земле чужой.^{2}

I

В пределах черных Сомали,
в Париже, Праге и Шанхае
он, черный горечью земли
и потом пьяный, мирный парий
в Напоминанья час и день
с семьей за чистый стол садится
– когда есть стол, семья и сень! —

^{2} Под названием «Белые стихи» опубл.: *Меч*, 1934, № 28, 25 ноября, стр. 3.
Ср.: № 414.

за ним трапезовать – молиться.
Здесь раб для мира – господин,
воскресший дважды – трижды в сыне.

И тихо спрашивает сын,
уже рожденный на чужбине
– дитя, великого росток,
дитя, великая надежда,
но смирен, хил и бледноок,
пришедший и возросший между
великих лет, всегда один,
с самим собой в игре и плаче —
и тихо спрашивает сын:
«отец, что этот праздник значит?»

И слышит сын ответ отца,
необычайно и сурово —
от измененного лица
неузнаваемое слово:
«Мой друг! привык ты называть,
всю жизнь скитаясь вместе с нами,
нас – двух людей – отец и мать:
увы! не теми именами.

Но знай теперь; твой род высок,
ты вовсе сын не человека.

Отец твой это он – наш Рок,
дух жатв таинственного века.

А Мать твоя – не смею я
произносить такое имя! —

Отчизна наша – мать твоя.

В небытии... в разделе... в дыме...

Но за ее высокий час
возмездья или воскресенья
проходим мы теперь как раз
день казни нашей, день плененья;
как сон, проходим пустоту,
скитанья в мире и раздумья.
Храним безмолвную мечту,
блюдем смиренное безумье...»^{3}

Первая

1

Все богоделанно в природе:
богорасленные сады,
плакущей ивой в огороде
укрыты нищие гряды;
мироискательные воды
у пастбищ мирное гремят;
кровосмесительные годы
отходят дымом на закат;

^{3} Напечатано в пасхальном номере *Меча* за 1935 год (№ 17), 28 апреля, стр. 2, под заглавием «Из эмигрантской поэмы», с дополнительным четверостишием в начале: Весь долгий год – чужой урок, в трудах – и пот, и униженья. Но есть в году счастливый срок — надежды, Пасхи, Воскресенья!

звуча распевно, полноречно,
сгорает купола свеча.

И человеку снова вечно
в дороге пыльной у ключа.

Как можно было в этом мире
слезонеметь, кровописать,
где в сереброоблачной порфире
луна на небе, как печать,
над ночью черною блистает;

где белокрылые сады
метелью летнею слетают
в обвороженные пруды;
где златоогненная благодать
великолепствует и жжет,
где загорает смугло нагость:

блаженный в праздности народ!
В веках таинственной, чудесней
самозабвенный мир твердит
все те же пьянственные песни,
ильнее возгласов обид.

И самовидец дней жестоких,
былинки тростью шевеля,
блуждает в мире долуоких
и видит в первый раз: *земля!*

Неисследима коловратность
безумных лет. Где явь? где сон?
И на судеб земных превратность,
очнувшись, жалуется он.

Вот между белыми камнями

лучами высушенных плит
зеленой ящерицы пламя
из трещин пористых сквозит.
Спешит согреться и не слышит
ударов трости по плите:
так мелко, задыхаясь, дышит,
прижавшись к камня теплоте...
И узнает в себе он эту
нечеловеческую страсть:
к окаменяющему свету,
дыханьем только став, припасть.

2

Рассыпан пепел, чай расплескан,
с цепей сорвались голоса —
с ожесточением и треском
под кров политика вошла.
Во имя блага ненавидя,
кричат, встают... лишь он один,
как воскрешенный Лазарь, видит
поверх смятенных лбов и спин.
И мыслит: где найдет такую
вершину мирный человек,
куда не доплеснет, бушуя,

кровокипящим кубком^{4} – век!
Не это крайнее кипенье
умов – и знаменье и страсть! —
не дерзость мысли, но смирение —
геройства праведного часть.
Теперь герой, – кто здесь селится:
на погребе пороховом,
взорваться или провалиться
готовом, строит шаткий дом;
кто на неверной почве зыбкой —
на черном порохе земном
встречает путь лозы улыбкой
и знает мудрое о нем.

3

«Пятнадцать лет тому могли мы
еще ждать чуда...» – и умолк.
Восходят облачные дымы
от папирос на потолок.
Рука с дымящей папиросой
равняет новый веер карт.
«Все это древние вопросы,
а на дворе – который март?»

{4} Кровокипящий кубок – отсылка к «громокипящему кубку» в стихотворении Тютчева и заглавии стихотворной книги Игоря-Северянина.

И карты меткие взлетают
над душевной пылью меловой,
и марты лет пустых блуждают
пустыней людной мировой.
Но вот, из воздуха азарта
невольный бражник и игрок
— еще в глазах летают карты —
вздохнуть выходит на порог.
Расстегнут ворот, дышит тело
— плоть распаленная — теплом.
А в мире за ночь побелело:
овеян белый сад и дом.
Упорный ветер охлаждает
медь раскаленных щек и век.
И по полям ночным блуждает
один, в раздумьи, человек.

4

Отсюда, с кладбища чужого
видна граница. Часто он
следит дорогу часового,
земной прорезавшую сон.
То, что стремится стать всемирным
— всепотопляющий прибой —
теснится вех чертою мирной —

воздушнокрепкою стеной.
Взлетев, дымятся стайкой птицы,
ползет оратай вдоль оград...
Но в полночь гулок мир границы,
в тумане выстрелы звучат.
От плошки огненного флага,
зигзагом вех, змеей берегов,
болотом, где темнеет влага...
он изучать ее готов,
и в сизый дым лесов за нею,
облокотясь о влажный склон
холма могильного, бледнея,
он неподвижно погружон.
От безответной, недвижимой,
широкотлеющей страны
восходят облачные дымы
неопалимой купины.

Вторая

1

Порой сойдутся обвинить
друг друга – в прошлом, настоящем:
кого теперь боготворить

и чем гордиться – говорящим!
Порою вспомнят времена —
те героические годы...
пересчитают имена,
могилы братские свободы.
Но с каждой новой весной,
осенней черной годовщиной
бесстрастной говор круговой —
бледнеют доблести и вины.
Все чаще хочется неметь —
судьба все глуше, неизвестней...
и души просятся допеть
тогда лишь сложенные – песни.
Все неизбежной для живых
последнее предначертанье:
не дом, но мір – не мир, но вихрь:
судьба и выбор и призванье.

2

О вы, снесенные листья!
Что́ бурей сорванные птицы!
Мететесь в шумные порты
и европейские столицы.
Что им до ваших крыл – и так
земля в разливах душ и кликах! —

до ваших трой или итак,
крушений, подвигов великих...
Им ничего не говорят
судьба и опыт побежденных.
Еще и трои не горят,
моря не кличут разоренных.
И только новый одиссей
занять бы мог рассказом длинным
о древних ужасах морей,
о поднебесии пустынном;
о перейденных им словах,
о передуманных им лицах;
о тюрьмах, трюмах; о мешках
не *там* ли груженной пшеницы;
о аде доменных печей,
легчайших душах – клубках пара;
о тьме пастушеских ночей,
о черном поте кочегара;
мечтах под грузом портовым
в Марселе, Фриско,^{5} Санта Лючье,
о царской гордости своим
великим неблагополучьем;
среди возмущений и речей,
опять колеблющих народы, —
о новой мудрости своей
безмолвной мысленной свободы.
С холмов калипсиной страны^{6}

{5} Фриско – Сан-Франциско.

{6} Калипсиной – от Калипсо – нимфа (древнегреч. мифология), жившая на

над понтом падыма и мака
ему отчетливо видны
холмы соседнего – итака!
Но сколько странствий и морей
его от дома отделяет!
Пусть виден дом, как Одиссей
к нему дороги он не знает.

3

Зыбь – половицы. Громов бой.
О сердце, в стекла – крест нательный.
Нарушен утренней грозой,
расторгнут – тесный мир постельный.
Гудит металл – громовый стон.
С ним голос тайного смущенья
в бессонном духе соглашен.
Ревет ветвей вихревращенье.
Где гибнет в выстрелах душа,
где буря космы косит векам, —
дыханьем огненным дыша,
несутся с кликами и смехом
Освобожденные от Пут,
метутся, скачут, сотрясают, —
глазницы яростью сверкают,

бросают молнии и жгут.

А в этих сотрясенных стенах —

дыханье детское жены,

гуденье сонной крови в венах,

брожение мысленное — сны;

всю ночь первоначальным полны

тела, забывшие века;

дыханья медленные волны,

на них уснувшая рука.

То — зыбь над бездной затаенной

— застынь — не мысль — полудыши! —

то бред и жалость полусонной

полуживой полудуши.

И днем, когда умы и души

не так уж мирны, как тела,

когда им кажется — на суше

их совершаются дела, —

восхищен мысленным виденьем,

ночную с демонами брань

дух вспоминает и — волненье

колеблет жизненную ткань.

Не так легка за эту жалость

к дыханью смертному — борьба.

Совидцу грозных дел осталась

сновидца зыбкая судьба.

211 в. Эмигрантская поэма

Для глаз – галлиполийских роз,
сирийских сикомор венки...
Но жалит в ногу скорпионом
эдема чуждого земля.

Здесь чуждый рай, там ад чужой:
стоzeвный вей, фабричный пал...
На заводских покатых нарах
и сон – не сон в земле чужой.

Раб – абиссинский пьяный негр,
бежавший с каторги араб
и ты – одним покрыты потом...
и хлеб – не хлеб в земле чужой.

Черства изгнания земля...
Пуста изгнания земля...
Но что считает мир позором,
то не позор в земле чужой.

Вы, глыбы непосильных нош,
ты, ночь бездомная в порту,
в вас много Вечного Веселья:
Бог – только Бог в земле чужой.

I

В пределах черных Сомали,
в Париже, Праге и Шанхае
он, черный горечью земли
и потом пьяный, мирный парий
в Напоминанья час и день
с семьей за чистый стол садится
— когда есть стол, семья и сень! —
за ним трапезовать — молиться.
Здесь раб для мира — господин,
воскресший дважды — трижды в сыне.
И тихо спрашивает сын,
уже рожденный на чужбине
— дитя, великого росток,
дитя, великая надежда,
но смирен, хил и бледноок,
пришедший и возросший между
великих лет, всегда один,
с самим собой в игре и плаче —
и тихо спрашивает сын:
«отец, что этот праздник значит?»
И слышит сын ответ отца.
Необычайно и сурово —
от измененного лица
неузнаваемое слово:

«Мой друг! привык ты называть,
всю жизнь скитаясь вместе с нами,
нас – двух людей – отец и мать:
увы! чужими именами.
Но знай теперь: твой род высок,
ты вовсе сын не человека.
Отец твой это он – наш рок,
дух жатв таинственного века.
А мать твоя – не смею я
произносить такое имя! —
Отчизна наша – мать твоя.
В небытии... в разделе... в дыме...
но за ее высокий час
возмездья или воскресенья
проходим мы теперь как раз
день казни нашей, день плененья;
как сон проходим пустоту,
скитанья в мире и раздумья.
Храним безмолвную мечту,
блюдем смиренное безумье...»

Первая

Все богоделанно в природе:
благорасленные сады,
плакущей ивой в огороде
укрыты нищие гряды;
мироискательные воды
у пастбищ мирное гремят;
кровосмесительные годы
отходят дымом на закат;
звуча распевно, полноречно,
сгорает купола свеча.

И человеку снова вечно
в дороге пыльной у ключа.
Как можно было в этом мире
слезонеметь, кровописать,
где в сереброоблачной порфире
луна на небе, как печать,
над ночью черною блистает;
где белокрылые сады
метелью летнею слетают
в обвороженные пруды;
где златоогненная благодать
великолепствует и жжет,
где загорает смугло нагость:
блаженный в праздности народ!
В веках таинственней, чудесней
самозабвенный мир твердит
все те же пьянственные песни,
сильнее возгласов обид.
И самовидец дней жестоких,

былинки тростью шевеля,
блуждает в мире долуоких
и видит в первый раз: *земля!*
Неисследима коловратность
безумных лет. Где явь? где сон?
И на судеб земных превратность,
очнувшись, жалуется он.
Вот между белыми камнями
лучами высушенных плит
зеленой ящерицы пламя
из трещин пористых сквозит.
Спешит согреться и не слышит
ударов трости по плите:
так мелко, задыхаясь, дышит,
прижавшись к камня теплоте...
И узнает в себе он эту
нечеловеческую страсть:
к окаменяющему свету,
дыханьем только став, припасть.

2

Рассыпан пепел, чай расплескан,
с цепей сорвались голоса
— с ожесточением и треском
под кров политика вошла.

Во имя блага ненавидя,
кричат, встают... лишь он один,
как воскрешенный Лазарь, видит
поверх смятенных лбов и спин.
И мыслит: где найдет такую
вершину мирный человек,
куда не доплеснет, бушуя,
кровокипящим кубком – век!
Не это крайнее кипенье
умов – и знаменье и страсть! —
не дерзость мысли, но смирение —
геройства праведного часть.
Теперь герой, – кто здесь селится:
на погребе пороховом,
взорваться или провалиться
готовом, строит шаткий дом;
кто на неверной почве зыбкой —
на черном порохе земном
встречает путь лозы улыбкой
и знает мудрое о нем.

3

«Пятнадцать лет тому могли мы
еще ждать чуда...» – и умолк.
Восходят облачные дымы

от папирос на потолок.
Рука с дымящей папиросой
равняет новый веер карт.
«Все это древние вопросы,
а на дворе – который март?»
И карты меткие взлетают
над душной пылью меловой,
и марты лет пустых блуждают
пустыней людной мировой.
Но вот, из воздуха азарта
невольный бражник и игрок
– еще в глазах летают карты —
вздохнуть выходит на порог.
Расстегнут ворот, дышит тело
– плоть распаленная – теплом.
А в мире за ночь побелело:
овеян белый сад и дом.
Упорный ветер охлаждает
медь раскаленных щек и век.
И по полям ночным блуждает
один, в раздумьи, человек.

4

Отсюда, с кладбища чужого
видна граница. Часто он

следит дорогу часового,
земной прорезавшую сон.
То, что стремится стать всемирным
— всепотопляющий прибор —
теснится вех чертою мирной —
воздушнокрепкою стеной.
Взлетев, дымятся стайкой птицы,
ползет оратай вдоль оград...
Но в полночь гулок мир границы,
в тумане выстрелы звучат.
От площадки огненного флага,
зигзагом вех, змеей берегов,
болотом, где темнеет влага...
он изучать ее готов,
и в сизый дым лесов за нею,
облокотясь о влажный склон
холма могильного, бледнея,
он неподвижно погружон.
От безответной, недвижимой,
широкотлеющей страны
восходят облачные дымы
неопалимой купины.

Вторая

1

Порой сойдутся обвинить
друг друга – в прошлом, настоящем:
кого теперь боготворить
и чем гордиться – говорящим!
Порою вспомнят времена —
те героические годы...
пересчитают имена,
могилы братския свободы.
Но с каждой новой весной,
осенней черной годовщиной
бесстрастней говор круговой —
бледнеют доблести и вины.
Все чаще хочется неметь —
судьба все глуше, неизвестней...
и души просятся допеть
тогда лишь сложенные – песни.
Все неизбежней для живых
последнее предначертанье:
не дом, но мір – не мир, но вихрь:
судьба и выбор и призванье.

О вы, летучие листы!
Что бурей сорванные птицы!
Мететесь в шумные порты
и европейские столицы.
Что им до ваших крыл – и так
земля в разливах душ и кликах! —
до ваших трой или итак,
крушений, подвигов великих...
Им ничего не говорят
судьба и опыт побежденных.
Еще их трои не горят,
моря не кличут разоренных.
И только новый одиссей
занять бы мог рассказом длинным
о древних ужасах морей,
о поднебесии пустынном;
о переищенных им словах,
о передуманных им лицах;
о тюрьмах, трюмах; о мешках
не *там* ли груженной пшеницы;
о аде доменных печей,
легчайших душах – клубках пара;
о тьме пастушеских ночей,
о черном поте кочегара;

мечтах под грузом портовым
в Марселе, Фриско, Санта Лючьи,
о царской гордости своим
великим неблагополучьем;
среди возмущений и речей,
опять колеблющих народы, —
о новой мудрости своей
безмолвной мысленной свободы.
С холмов калипсиной страны
над понтом падыма и мака
ему отчетливо видны
холмы соседнего – итака!
Но сколько странствий и морей
его *от* дома отделяет!
Пусть виден дом, как Одиссей
к нему дороги он не знает.

3

*Из опрокинувшихся чаш
туч дождевых – дымящей влаги
столпы бегущие, вдоль чащ —
от них кипящие овраги
— то пала солнечного вихрь! —
и демонов ночные встречи:
сквозь зыбь оконную – гул их

все приближающейся речи.
Их спор – металлом – к рубежам
страны, им отданной, – доносит.
Над кем сейчас враждуют там,
где буря космы вехам косит,
где возле сердца беглеца
шипят – спеша к пределам – оси,
над серой бледностью лица
где пуль граничных выются осы,
и хлябь болотная в кругу
вихревращения и восстанья...
На этом мирном берегу —
священные воспоминанья.
Освобожденные от пут
уже – над кровлей... сотрясают,
глазницы яростью пылают,
бросают молнии и жгут.^{7}

А в ими сотрясенных стенах —
дыханье детское жены,
гуденье сонной крови в венах,
брожение мысленное – сны;
всю ночь первоначальным полны
тела, забывшие века;
дыханья медленные волны,
на них уснувшая рука.
То – зыбь над бездной затаенной

^{7} Между астерисками – *автограф*, рукописный текст, вписанный поверх заклеенного машинописного.

— застынь — не мысль — полудыши! —
то бред и жалость полусонной
полуживой полудуши.
И днем, когда умы и души
не так уж мирны, как тела,
когда им кажется: на суше
их совершаются дела, —
восхищен мысленным виденьем,
ночную с демонами брань
дух вспоминает, и — волнение
колеблет жизненную ткань.
Неотменяемое карой
возмездье — память о веках.
И понуждает мыслью вялой
он тело к жизни, к делу — страх.
Не так легка за эту жалость
к дыханью смертному — борьба.
Совидцу грозных дел осталась
сновидца зыбкая судьба.

Третья

1

Мир юн — ему еще дана

соблазном бездны – неизвестность.

Адаму ветхому нужна

плоть умудренная – телесность.

Устал адам от бездн – высот,

от – исторических волнений.

Но мира нет – его несет

по воле скрещенных течений.

То внешний вихрь, то буря из

ума ли, духа ли – уносит.

Остановись! остановись!

он мир и дух напрасно просит.

И счастлив тот, кто сам избрал

вихрь внешний: кто среди волненья

стихий стремление предузнал,

нашел свое предназначенье

Плывут недвижные мосты

полетов головокруженья.

Но подчинись волне и – ты

уже повиснешь без движенья.

Нет неподвижнее часов,

когда в продолженном стремлении

уже утеряно миров

во-мне и вне сокосновенье.

У ног – торопится трава.

Плывет – воздушное приволье.

Святы пустынные слова:

пустынножитье! пустополье.

Плавающий дом воздушных рек:

меж нёбом место и меж небом, —
в нем больший лад, чем злее век,
чем человек беднее хлебом.
Не мир, но душ созревший строй;
не хлеб, но мысленная пища.
Пустынножитель! рушь и строй!
В уме – миры и пепелища.

2

Не имена вождей седых,
не речи нового витии —
пустынножителей таких
еще нужны дела России.
Когда я с легкостью менял
места и судьбы и заботы, —
я часто малых сих встречал,
свершавших те же перелеты.
Случалось обок с ним стоять,
шоссейные трамбуя плиты;
случалось вместе с ним таскать
бродячей трупы реквизиты.
В часы свободные потом
он мне рассказывал спокойно
скупым и грубым языком
о вечных подвигов достойном.

И если б мог забытых лир
себе эпическую меру
ямб возвратить – века и мир
опять вместить в свои размеры, —
я тот рассказ бы передал
– геройств и малых дел смешенье —,
я б жизни рифмы подсказал
к делам грядущим поколений,
не дав им перетлеть в уме...

В пути с работ на лесопильне
мы с ним однажды на холме
стояли. Помню воздух пыльный,
тяжелодымно облака
горевшие... Внизу – река
застывшим омутом блестела.

Он одуванчики срывал
и дул, и по ветру летела
их золотая шерсть. Взлетал
клок, опрозраченный зарею, —
чем выше – ярче, и седым
скользил сквозь тень. И этот дым
я с нашей сравнивал судьбою.

Я думал: вей, посевный дух!
зерном крылатым самосева
лети, несомый ветром пух,
пустыней странствия и гнева!

Чужая почва, как зола,
как камень огненный, бесплодна.
Ветров летучие крыла

широковейны и свободны.
Эскадра душ – их тень, их вей —
в последнее четверостишие,
туда, где трепетных корней
посевных жаждет пепелище.

май-июнь <1935>

212. Смерти

[Зияет время...]

Семижды ложем океанов
был сей равнинный круг осок
пал за хребет левиофанов
здесь первый ноев голубок,
пласт мела прободен могучим
здесь бивнем с повестью рун о
том, как на небо взято тучам
вод мезозойское руно
плывет в земных веков жилища
стадами белых черепах
и катятся уже с кладбища
копытам козым черепа,
как шла по черепам, по рунам
невысловима и вся страсть,
как я пред видом страсти рухнул,

в пасть страсти осужденный пасть...

Нет, осужденный, но не рухнул
еще: нещадна и слепа
лишь близится по ветхим рунам
по ржавым в прахе черепам.]{⁸}

Ода

На стол, символ гадальной карты,
слетаешь призраком порой,
в игральные вмешавшись карты —
скелетом с поднятой косой.
Тогда как вихрем шевелятся
у суеверия власы:
как травам, жизням колебаться
от приближения косы.

Но не такой ты мне: нещадной,
с косой игрушечной тупой,
марионеткою площадной
над ширмой красной, над толпой.

^{8} Вычеркнутый в машинописи кусок. Эпиграф — из стих. Державина «На смерть кн. Мещерского». Первые 12 строк этого куска, вошедшие во вторую главку «Сотом вечности» (№ 214), появились как отдельное стихотворение в «Ермии» — № 219.

Не скрежетом уничтоженья,
не ересью о тишине, —
начальной тайною нетленья,
при жизни предлетавшей мне.
Тогда еще телесно отрок
тобой тысячелетен стал,
вместив все видимое от рог —
ов зверя, от копыт и жал
до плави на разбельной тверди,
до цыри брызжущих лучей.
Большая лествица, бессмертье
моих бесчисленных смертей.

* * *

Есть средства горькие забвенья,
но трезвым благостно принять
суровой смерти посвященья,
ее бессмертную печать.
Телолобивы, маловерны,
не видим ночи мы с утра.
Стремимся горстью взмах безмерный —
в пространствах удержать ветра.
Но ждет удар в могиле грома —
земли о гроб, ждет тлен, ждет кость.
Все совлечет с тебя, из дома

родного вынесет твой гость.
Чтоб понял ты коловращенье,
его слепой круговорот,
свою – о смерти небреженья
ошибку смертную... И вот —:
избегнуть срока не старайся,
знай, смерть – ковчег твой, новый ной,
и вечности воспламеняйся
взволнованною тишиной.

Как благодатен тот иаков,
что *с ней* при жизни спор имел,
на ком следы остались знаков
объятий, огненных для тел.
Богонетленны эти знаки
косноязычья, хромоты —
духопрозрачнящие паки
природы темные черты.
Порой иным, но сродным, слогом
– в нем та же бледность, тот же свист —
она является к порогам
сознаний тех, кто прост и чист:
как воспаленным точкам близко
двух сопрягающихся тел
от сфер сиянья, травам низким
душистым – от духовных дел;
пусть только воспаленья токи,
возникнув, после не найдут
другого тела, в кости, в соки

проникнут огненно, пройдут.
В столь трудной радости высокой
в час новопламенных минут
к сто-ликой, – сердой, – умной, – окой
телесным знанием придут,
и им откроется прозренно
в какой-то серый день – листва
б. м. только вспыхнет тленно —
простая тайна единства.
Под шелест трав у ног, под пенье
в заборе ветра – свист и звон —
о жизни-смерте-становлении
преображающий закон.

Мы, кто сомыслить ей не смеем,
– от душ, от трав, до пыли плит —
светильник, сытимый елеем,
в котором общий дух горит.
Пока еще то пламя тлеет,
всепроникая естество,
в светильнике не оскудеет
духовной плоти вещество.
Не тот, кто бренного дыханья
с благоуханием ветров
сорастворил благоуханье, —
в ком умер мир живой – тот мертв.



Невинно веруют живые,
что нет мертвее неживых,
не видя тени гробовые,
дыхания не чуя их.
И если мертвых целованье
почувствуют на лбу своем,
воскликнут только: наказание
– кто дверь! (– окно!) – со сквозняком!..
Но – сами этого не знают! —
путеводимы волей их,
солюбят с ними, сострадают,
соделатели неживых.
Как часто сам, уже у цели
опасных дел, я постигал:
те помыслы, что мной владели,
мне в разум мертвый перст влагал.

Перенасыщенную землю
я вижу: тленьем персть пьяна.
В ночном молчаньи часто внемлю —
пылает зренье тьмой – *она!*
Ловлю я тени без предметов,
свечение вокруг них травы;
– слова таинственных советов:

стань вне и утвердишься в.
И просвещается сознание:
что смерть и *где* ее предел?
ее ли наименованием
определил я свой удел!
И тело к тленью приближая,
остря пять помыслов, пять жал,
волненьем сердце утомляя,
не смерть ли жизнью почитал.

Не новой плотью (воскрешенья!)
кость мертвая веками ждет.
В веках мы копим дух – не тленье.
Для смерти этот род живет.
Искусство смерти, план предвечный:
не прекращая плоть ее,
стать в духе жизнью бесконечным;
очищенное бытие.
Когда шепчу жене любимой

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания